

Единственный свидетель — Бог

Следователь

Кто-то из великих художников, Саша, начинал работу над картиной с выбора рамы. Жил этот человек в эпоху Возрождения, а рамы в те времена были не такими, как делают сейчас: из четырех планок и на четырех гвоздях; удивительные создавали рамы чему можно найти примеры в залах Эрмитажа. Рамы из красного дерева, из черного, золоченые, резные, бронзовые, украшенные драгоценными камнями, достойные внимания сами по себе, без полотна, даже более интересные без него... Этот художник приходил к мастеру и среди выставленных работ выбирал одну, наиболее соответствующую смутным образам своей будущей картины, блуждающим в душе настроениям, той дымке, прикрывающей таинственный пейзаж, который показывается, когда наступает срок. И только после того, как подмастерья закрепляли облюбованную им раму на мольберт, он брал палитру и начинал писать.

Вот и я в некотором роде похож на того живописца. Как и ему, мне необходимо обрамление для мысленного полотна, на котором я начну писать картину преступления. Сюжет картины неизменен — это драма, главный герой которой — злодей, поначалу скрытый маской невинности, зато композиция обновляется десятки раз — меняются количество и освещение фигур, их взаимодействие и местоположение, и так длится, пока мои персонажи не разберутся в порядок, определяемый их виновностью. Колорит моих картин темный, что, мне кажется, не требует пояснений. Следует обязательно отметить существенное достоинство моего творчества — оно протекает в русле академического реализма. Никаких символов и абстракций. Все детали выписаны с величайшим тщанием, не хуже, чем это делал в своих натюрмортах Снайдерс. А уж когда я пишу лицо, так это, воистину, живое лицо, чему, вероятно, позавидовал бы и Гольбейн. Само собой разумеется, золото, серебро, бриллианты, отечественные деньги и иностранная валюта, кинжалы, пистолеты, кистени и кровь представлены в высшей степени натурально. Присутствует, впрочем, элемент импрессионизма — флёр — дымка тайны, которая с ходом времени развеивается, обнажая причины и следствия. Как и большинство художников, я суеверен, допускаю к картине зрителей, лишь положив последний мазок. Тогда я сбрасываю покрывало, и взорам публики предстает то, за что мне платят скромный, надо сказать, гонорар. Такова, Саша, моя методика следствия.

Другие следователи работают иначе, кто лучше, кто хуже, один больше думает, другой больше чувствует — всяк по-своему. Но сказать, что мои правила лучше, — нельзя. Основное условие, необходимое мне для творчества, — одиночество. Именно поэтому, Саша, мы сейчас расстанемся, и ты пойдешь помогать следователю Фролову.

Перестал вспыхивать блиц фотографа, покойного увезли в морг, туда же отбыл врач, начальник райотдела Максимов распорядился собрать в отделение свидетелей, снялись с постов местные милиционеры, только старшина еще стоит у калитки, отпугивая любопытных. Когда мой помощник лейтенант Саша Локтев уходит протоколировать свидетельские показания, я забираю у старшины ключи от всех дверей, говорю ему, что он свободен, и остаюсь один под гулкими сводами костела.

С икон и росписей на меня взирают святые -- благосклонно, печально или сочувственно, только в глазах Иуды Искарюта злорадство и неприязнь, но, возможно, это мне мерещится. Сквозь цветные витражи узких окон просачивается слабый свет, в костеле сгущается сумрак, и тишина стоит тяжелая и глухая.

Мне одиноко и неудобно. Откуда это идет — не знаю. Вроде бы уже ко всему привык. И все же...

Я сажусь на скамью и, поглядывая на алтарный витраж, изображающий Христа распятого, увлекаюсь соединением известных мне моментов преступления.

Веселый солнечный день, думаю я. Даже не день, а полдень. В тени старых кленов белеет древний костел, в свято место льется сияющий свет. Звучит орган. Некто приходит сюда в молитвенном настроении — и оказывается в исповедальне с проломленным черепом.

По свидетельству врача, смерть наступила от удара тяжелым предметом, а именно свинцовым подсвечником, который от всех остальных находящихся в костеле подсвечников отличается тем, что на нем нет ни единого отпечатка пальцев, нет пыли, только, может быть, невидимые в лупу микробы, но они есть везде. Подсвечник чист — он вытерт тряпкой. Вот он стоит.

Насильственные смерти по своему характеру весьма различаются между собой — они бывают справедливые и несправедливые, случайные и умышленные, predetermined и обязательные, нежелательные, но необходимые. И так далее. К какому разряду относится данная? Человек появляется среди сих стен и погибает. Не бог, ведь, поразил его своей десницей в тесной исповедальне, чтобы испытать ужасом ксендза, которому выпало обнаружить безжизненное тело. Наконец, кто он, этот человек, у которого в правом наружном кармане пиджака — пачка «Орбиты», в левом наружном — спички, в левом внутреннем — газета «Известия», а правый внутренний был пуст. Все, кто его видел — свидетели, капитан Максимов, милиционеры, врач городской больницы, — утверждают, что покойный к

населению местечка не принадлежал. Время смерти определено между одиннадцатью тридцатью и двенадцатью. В эти полчаса в костеле находился убийца.

Достаточно подойти к человеку сзади и, замахнувшись, опустить подсвечник на тыльную часть черепа, как душа, которая, по уверению Паскаля, находится в мозжечке, мгновенно и навсегда покинет свою обитель. Что и произошло, скорее всего, вот здесь, у иконы богородицы, откуда до исповедальни десять шагов.

Но зачем и кому понадобилось убивать его именно в костеле, а, скажем, не в туалете автобусной станции или не в городском сквере, густо заросшем сиренью.

Удивительное это дело, подсказывает мне интуиция. А доверять интуиции — золотое правило моего метода. Оно дает много преимуществ — решения созревают самостоятельно, как бы сами по себе, и спускаются из сверхсознания в тот час и миг, когда становятся необходимыми. Можно любоваться закатом, смотреть кино, читать книги или дремать, и вдруг-«Эврика!» — это предстает перед мысленным взором искомый ответ.

Но прежде следует подготовить ниву — запастись фактами, загадками и догадками и, главное, впечатлениями о месте и участниках происшествия.

Гражданин является в действующий костел — помолиться или понаблюдать, как молятся другие — и расстается с жизнью. Или же второй вариант: он посещает костел, как архитектурный памятник охраняемый государством, чтобы удовлетворить любопытство к старинному зодчеству, расширить свой кругозор, интеллигентно рассматривает иконы, слушает орган — и получает удар подсвечником. Что же он недозволенное увидел? Или что он темное знал? Или прятался? Церковь гарантирует неприкосновенность в своих границах, это старый обычай, только милиция может его нарушать. Допустим, он прятался, укрылся в исповедальне. Кто-то, тем не менее, его нашел.

По каменной спиральной лестнице поднимаюсь на хоры. Трубы, трубы органа, способные заглушить строевую песню, не то что последний вскрик одинокой жертвы. Сажусь за кафедру — здесь сидел органист — и почтительно гляжу на пирамиду клавиатуры; взгляд вправо, взгляд влево замыкаются на стенах — я сижу к алтарю спиной; увидеть, что творится в костеле, он не мог. Исповедальня закрыта колоннами. А музыка звучит, рокочут трубы. Для кого она звучит в пустом костеле?

А теперь присяду-ка я на скамеечку в исповедальне и закурю. Это, конечно, нехорошо, но никто не увидит, да и грех невелик. Вот человека убили, и ничего не произошло — стены не обрушились и ни на одной из многочисленных икон не появились слезы сострадания. Возможно, человек был не из лучших — грешник, плут, шантажист, шулер, — все может быть. Однако, кем бы он ни был, одно остается бесспорным — он хотел жить. И некто отнял у него это главное его право. А если и не сильно хотел, как говорится, устал от жизни, тяготился

ее нудными заботами, или вообще уже сильно не хотел жить, то все равно никто не имеет права на добровольное содействие. Даже послушная ученица пятого класса, прикалывая булавкой на картон стрекозу для школьной коллекции, убивает тварь божью. Стоит приглядеться какие у стрекозы прелестные тонкие крылышки, чтобы удивиться этому чуду природы. Человек, разумеется, занял бы вершину таких чудес, если бы не свойственная ему агрессивность. Потенциал ее у некоторых особей очень высок, а мотивы действия могут быть крайне примитивны — нажива, инстинкт самосохранения. Тоскливо думать об этом. Нечто весьма страшное в человеческой природе оголяется через убийство, что совершенно искажает картину мира, создаваемую оптимистами. Для того ли живет человек, чтобы кто-то ввергнул его во тьму вечности ударом подсвечника? Как это осмыслить?.. Разомну-ка я лучше сигарету и подумаю, зачем потребовалось вытаскивать тело из исповедальни до прихода милиции И еще интересно не было у покойного документов или их похитили как раз из того внутреннего кармана, который пуст?

Легкие шаги, тихий скрип подошв, сдерживаемое дыхание. Ближе, ближе. Близко. Стоп. Остановился. Стоит. Ну, смелее, зываю я. Вперед!

Полог плавно отодвигается, человек наталкивается на мой немигающий приветливый взгляд — может быть, он и не видит моих глаз, а видит какой-то объем там, где должно быть пусто, фигуру, сотворенную из мрака, более темную, чем сумрак костела, — и тишину пронзает крик ужаса.

— Вы-вы-вы — вы кто? — лепечет окаменевший человек.

— Я — инспектор уголовного розыска майор Иксанов, — говорю я и добавляю для нормализации обстановки: — Виктор Николаевич. А вы?

Не ответит ли на эти вопросы человек, осторожно отпирающий сейчас дверь сакристини, хотя все ключи от костела изъяты Максимовым и лежат у меня в кармане? Заодно приготовим пистолет, ибо удар подсвечником в лоб равноценен удару по затылку. Хотя эта предосторожность, думаю я, излишняя.

— Я — ксендз этого костела Вериго.

— А звать вас? — спрашиваю я.

— Адам,— и через мгновение, осмыслив, что представляется лицу официальному, добавляет: — Адам Михайлович.

Вечер

— Что вы здесь делаете? — простодушно спрашивает ксендз Адам.

— Сижу, как видите. Гораздо интереснее, что собирались делать здесь вы? Наверное,

пришли отдохнуть? — Я выхожу из исповедальни. — Пожалуйста!

— Нет, нет, нет, — бормочет ксендз. — Я пришел... Не знаю, зачем я пришел... Я машинально пришел...

— И ключи машинально скрыли от капитана Максимова?

— Я забыл... Они лежали в горке... Но вы не поверите... Вот, вы спокойны, курили, а он тут лежал... это страшно...

— Полно, Адам Михайлович, — говорю я. — Все мы спокойно ходим по земле, а в ней истлели миллиарды. Это неинтересно. И потом, согласитесь, не плакать же мне, глядя на эту исповедальню. Я здесь по долгу службы, а чем она привлекает вас? Вы-то что надеялись увидеть?

— Не знаю, — отвечает ксендз. — Сам не могу понять. Пришел домой — тоскливо, сел читать — книга валится из рук, объяснить в двух словах невозможно...

— Зачем же в двух? — удивляюсь я. — Я готов выслушать.

— Вы иронизируете, Виктор Николаевич, и напрасно. Я старый человек, здесь прошла моя жизнь, большая часть жизни, сорок лет... И вдруг — убийство, смерть, милиция... В этой исповедальне я выслушал тысячи признаний... А теперь на ней клеймо... Вы не поймете, надо знать, что значит быть последним ксендзом...

— Ну, почему же обязательно последним, — успокоительно говорю я. — И потом, согласитесь, немного устойчиво в этом мире. Все обновляется, во всяком случае, подвержено изменению. Поверьте, если бы я был уверен, что я — последний следователь, я был бы очень рад. И про клеймо, по-моему, вы преувеличиваете; на вещах-то какая может быть вина. Кстати, Адам Михайлович, зачем покойного вынесли из исповедальни.

— Мы подумали, что он жив, — оказать помощь.

— Кто подумал?

— Кто-то сказал: «Шевелится?» Но не помню. Смятение, знаете, все ошеломлены, напуганы... Ужасно...

— Разумеется, — соглашаюсь я. — Полагаю, Адам Михайлович, вы закрыли за собой наружную дверь?

— Конечно, — поспешно заверяет меня ксендз и смотрит в глаза, словно ожидая похвалы.

— Зачем же вам понадобилось запирается?

— Да, зачем? — недоуменно повторяет ксендз. — Не знаю.

— Странно, Адам Михайлович, у вас получается, — говорю я. — О чем вас ни спросишь, ничего вы не знаете.

— Меня не за что осуждать, — гонорливо отвечает ксендз.

— Что вы, упаси, как говорится бог, — говорю я. — Я осуждать не умею. У меня, Адам Михайлович, другая профессия. Я обязан узнать, почему один человек лишил дорого человека жизни. Мне надо многое понять, я рассчитываю на вашу помощь. Давайте присядем.

— И что вы хотите узнать? — сердито спрашивает ксендз. — Я уже отвечал на вопросы вашего человека.

— Я хочу знать, кто из присутствовавших сегодня в костеле людей не способен на убийство. Как вы думаете?

— Не знаю, — отвечает ксендз и спохватывается: — Что-то я заладил одно. Это день такой, перепутались мысли...

Потом он молчит — думает, и я молчу — жду, и молчание наше длится долго.

— Не способен вообще? — наконец спрашивает ксендз. — В любых обстоятельствах? Если так, то только пани Ивашкевич и дочь органиста. Белов, органист, Буйницкий воевали. У Белова и Буйницкого даже ордена есть. Хотя там другое дело... А в такой, мирной, жизни — не думаю, мне кажется, они не могут. Хотя... Художник? Его я не знаю. Жолтак? Было за ним дело, человека порезал ножом, мать избивал. Бог его поймет. Я? О присутствующих, есть правило, не говорят, но, наверное, тоже способен. Да все, буквально, все! — восклицает ксендз отчаянно и удивленно. — А еще экскурсанты приходили. Предводитель у них такой, знаете, человек — врет и не краснеет.

Этический поворот темы мне в данную минуту неинтересен.

— Вот вы назвали фамилию Белов, — говорю я. — Это кто?

Директор краеведческого музея, — кратко отвечает ксендз; по его мнению, он дал мне исчерпывающую характеристику.

— Он что — воинствующий атеист? — спрашиваю я.

Ксендз неопределенно качает головой.

— Он пришел в костел поспорить с вами?

— Белов не для этого приходит, — говорит ксендз. — У него иные цели. Жаль, что уже темно, но вы заметили, что в костеле много ценных предметов — старая фисгармония, серебряный алтарный крест — это не отливка, ювелирная работа, полотенца, шитый бархат...

Я согласно поддакиваю и не лгу — действительно, есть интересные вещицы, вот подсвечник в частности.

— Все это, — ксендз переходит на таинственный шепот, — он хочет сделать филиалом своего музея. Ну, как Казанский собор или в Вильно костел святого Станислава. Такой у него вкус. Более всего на свете он жаждет заполучить сам костел, да, да, здание...

— Понятно, — говорю я. — Чтобы развесить картины о происхождении человека,

опорочить непорочное зачатие. Он часто здесь появляется?

— Как когда. Последнее время — часто. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Он, наверное, прав со своей точки зрения. По правде говоря, мне бы очень не хотелось, чтобы после моей смерти костел попал под его опеку.

— У меня такое чувство, Адам Михайлович, — говорю я — что Белов весьма не скоро вступит в права наследования.

— Кто знает свой век, — равнодушно отвечает ксендз.

— Да, — соглашаюсь я, — никто, и в такой вот малости одно из главных удовольствий жизни. Наверное, по этой причине вы и пригласили в костел реставратора? Давно работает художник?

— Две недели. Но о нем ничего не знаю. Знаю фамилию -- Петров, вижу — трудится, свое дело знает. Вот и все.

— Значит, две недели, — повторяю я.

— Да, две недели, — отвечает ксендз, и минуту мы молчим.

— А с органистом, Адам Михайлович, вы давно знакомы?

— Давно. С сорок шестого года.

— Где он работает?

— Здесь, — удивленно отвечает ксендз.

— И ему хватает на семью?

— Он одинок, — говорит ксендз. — Жена с ним развелась. Только дочь, но она студентка, в консерватории учится. Только дочь и вино, — добавляет он.

— Пьяница!

— Ну, не алкоголик, — без усердия опровергает ксендз, — под забором не лежит, но пьет, да, что весьма прискорбно, губит себя, а ведь способный музыкант. Луцевич — это фамилия органиста — приходит в костел каждодневно — я его попросил. Его и Буйницкого. Мне самому неудобно глядеть за художником, а я боюсь, он что-либо изменит в росписях, цвета, композицию, знаете, сейчас новые веяния, трактовки. Мне этого не хочется. Органист, разумеется, к художнику и близко не подходит -- ему это неинтересно, но играет, играет, хорошо, мы слушаем — очень приятно. И потом, он дает уроки дочери. Валя Луцевич. Вы должны были видеть ее.

— Нет, еще не видел, — говорю я. — Он верующий?

-- Стоит ли этого касаться? — отвечает ксендз. — Да и что такое верующий, неверующий? Неверующий во что? В сотворение в пятницу рыб в воде и птиц в воздухе? Тогда и я неверующий.

Это интересно, думаю я, вот и ксендз неверующий.

— А потом я просто не знаю, — продолжает он. — Однажды в пасхальную ночь костел был полон народу, все преклонили колени, я дал ему знак начать хорал, он кивнул, что понял, сел за кафедру и заиграл краковяк. Конечно, его чуть в клочья не разорвали, вернее, хотели крепко побить, но не в том дело. Человек такой — семь пятниц на неделе, неорганизованный, не против покуражиться. Он больше музыкант, чем костельный органист. Понимаете?

— Все мы, — киваю я, — хотим иметь большую свободу, чем имеем.

— Да, да, — говорит ксендз. — Примерно так.

— А Буйницкий тоже не работает, то есть помимо костела?

— Работает. Сторожем на маслозаводе. Заводик у нас есть небольшой.

— Какая у него роль в костеле? — интересуюсь я.

— Сакристиан, — отвечает ксендз, — ведет хозяйство, помогает мне на службах. Вы, если судить по вашим вопросам, еще не знаете — он раньше атеист был. В Виленском университете учился, филолог, в школе преподавал. Но когда дети умерли, из школы ушел. Несчастные люди Буйницкие. Имели двух девочек, и обе умерли в один день от воспаления легких. Простыла одна, заразила сестричку — за неделю сгорели, а были маленькие, только говорить научились. Мне их глубоко жаль. Благородные, добрые люди.

— Добрые? — переспрашиваю я. — А что это такое?

— Добрые, — повторяет ксендз, — это те, которые делают добро. По-моему, просто.

— Или не делают зла?

— Нет, добро.

— Так они делают добро?

— Доброта проявляется в отношениях, — говорит ксендз. — Да вы и сами это понимаете. Вот они привязались к дочери органиста. Буйницкий, пожалуй, относится к ней лучше, чем отец. Пани Анеля заботится обо мне. И потом, чтобы совершить преступление, я полагаю, надо вступить в конфликт. С кем у Стася Буйницкого могут быть конфликты? Сторожка, дом, костел — вот круг его забот и знакомств. Ударить человека насмерть? Нет, это он просто неспособен сделать.

— Если не секрет, Адам Михайлович, — спрашиваю я, — вы никогда не жалели, это не для следствия, а так, по-человечески интересно, что стали ксендзом этого костела в этом маленьком городке?

— Нет! — подчеркнуто твердо отвечает ксендз. — И какое сожаление вы подразумеваете? Что я не домогся стать епископом? Я к этому и не стремился. Я сам вышел из местечка. Эти люди мне близки, то есть были близки, старое поколение, близки и понятны, когда я был помоложе. А потом многое переменялось...

Мне интересно знать, что переменялось, но он молчит, взгляд его застывает на каком-

то предмете за моей спиной, на чем-то, по-видимому, страшном, если, конечно, это не игра. Я оглядываюсь на алтарь и различаю там медленнодвигающуюся фигуру. О господи, думаю я, кого же ты послал на исповедь следующим? Человек останавливается, прислушиваясь к тишине, вглядываюсь в сумрак костела. Затем вновь осторожно продвигается вперед и опять останавливается, поступив с алтарного возвышения.

Вежливое обращение к людям предписано мне служебными обязанностями, и я уже готов сказать: «Добрый вечер! Чем могу быть полезен?» — только я жду, когда человек приблизится.

В этот важный момент ксендз Веригго ерзает по скамье, и громкий предательский скрип пререзает тишину. Таинственный пришелец охает и поворачивает бежать.

-- Стой! — кричу я возмущенно. — Буду стрелять! — Это чисто психологический прием, давление на нервы; я при невыясненных обстоятельствах не стреляю, не стреляю вообще, даже в воздух; это мне не нравится, стрелять каждый дурак умеет. Крикнуть: «Стреляю!» — дело совсем иное, тут проверка реакции, жизненного опыта, что ли, квалификации, сопричастности к делу. Кому раскрыться нельзя, того и выстрелы не остановят.

Человек, однако, послушно останавливается, и мы подходим к нему.

-- Господи! — шепчет ксендз.

— Вы его знаете? — спрашиваю я.

— Да. Это Жолтак.

Передо мной стоит старик; в сумеречном свете рассмотреть его довольно трудно, но все-таки я замечаю, что он испуган и зол. Лет ему так шестьдесят, роста среднего, лицо изборождено морщинами, как кора, а одет он в какой-то мятый костюм и сапоги.

— Зачем вы сюда пришли? — спрашиваю я.

— Я искал пана ксендза.

— Откуда у вас ключ?

— Дверь была открыта.

Я гляжу на ксендза.

— Я закрывал, — отвечает ксендз.

— Открыто было, — повторяет Жолтак.

— А зачем вам ксендз?

— Мне надо с ним поговорить.

— Почему вы побежали?

— А кто бы не побежал? Испугался.

— Вот пан ксендз, говорите.

— Что вы хотели сказать, Жолтак? — спрашивает ксендз. — Не стесняйтесь, это следователь.

— Нет, — отвечает Жолтак. — Следователю я не скажу. Я хочу исповедоваться.

— Исповедоваться, — уныло повторяет ксендз. — Но тогда завтра. Сегодня я устал.

Я ксендза понимаю, сегодня исповедальня уже доставила ему два сюрприза.

— Мне все равно, — говорит Жолтак. — Завтра можно будет прийти?

— Да, — говорит ксендз. — Утром, пан Жолтак.

— Можно идти, — спрашивает у меня Жолтак, — или в милицию поведете?

— Идите, — отвечаю я. — Да, где вы живете?

— Замковая, четыре. — Жолтак поворачивается и прихрамывая выходит.

Дверь за ним закрывается, и я думаю, что не следовало его отпускать.

— Кто он, этот Жолтак? — спрашиваю я.

-- Дворник городской. Тихий. В тюрьме, правда, сидел, я вам говорил, за поножовщину. Сейчас грехи замаливает. Знаете пословицу: «Чем молодость похвалится, тем старость покается». Такой вот случай.

— Значит, верующий? — говорю я.

— Смерти боится, — объясняет ксендз.

Мы выходим во двор, и я закрываю своим ключом дверь сакристии.

— Вот мой дом, говорит ксендз. -- Раньше здесь жил костельный сторож. Но после войны поселился я. Старый дом сгорел. Заходите ко мне.

Не роскошь, думаю я. Маленькая пристройка к ограде, три окошечка, односкатная черепичная крыша, общая площадь метров двадцать пять, зато нет соседей, ночью тишина, лужайка под окном, пьяные не бродят, правда, убийства совершаются вблизи.

— Спасибо за приглашение, — говорю я. — Обязательно воспользуюсь. Доброй ночи.

— Доброй ночи и вам, — отвечает мне ксендз Вериго.

Вечер (продолжение)

Только я вышел за костельную ограду, как тут же испытал чувство неудовольствия собой, ощущение допущенной ошибки, досадного промаха. Скорее всего, это самообман, иллюзия, но мне кажется, что в мрачном сумраке костела, рядом с исповедальней, я был близок к разгадке убийства; в неожиданных приходах свидетелей или участников преступления, еще неясно, как их лучше назвать, есть нечто удивительное, многие детали их поведения мне непонятны. Я ошибся, думаю я, надо было остаться в костеле с этими людьми еще на полчаса. Жолтак сказал: «Следователю я не скажу». Что он хотел сказать ксендзу? В

чем исповедаться? В убийстве?

За костельной оградой, на тихой улице, по которой я иду в райотдел, — девятый час душного вечера. В огородах поливают зелень, дети гоняют мяч, в забегаловке толкуются мужики, словом, спокойный вечер в маленьком городке. Где-то тут находится убийца.

Я почти уверен, что поспешил уйти из костела, но возвращаться уже поздно — момент утерян, то есть не совсем утерян, думаю я, просто он отодвинулся на час. Я прочитаю показания, мы поужинаем и начнем следующий тур знакомства.

Для опроса свидетелей начальник райотдела предоставил свой кабинет, и когда я туда вхожу, там по сторонам большого пустого стола сидят — сбоку Саша, лицом ко мне Фролов, а напротив него девушка с изящной, на мой взгляд, фигуркой. Вспомнив рассказ ксендза, я определяю, что эта свидетельница — дочь органиста, Валя Луцевич, студентка консерватории. Быстролетный взгляд в мою сторону, а вернее, на скрип отворившейся двери, позволяет мне зафиксировать ее профиль и анфас. Говорят, среди музыкантов самым некрасивым был Паганин; так вот, напротив Фролова сидит женский, смягченный вариант Паганини, правда, с русыми волосами — славянская вариация.

Наверное, за фортепиано или за органом, думаю я, она мила, обаятельна, и какой-нибудь с возвышенным духом музыкант влюбится в нее насмерть, но в прагматическом окружении это узкое лицо, римский нос, острый подбородок поклонников не привлекут. Впрочем, насколько можно понять, и ее ничто, кроме музыки не интересует. Даже происшедшее в костеле убийство она восприняла без сильных эмоций, как нечто иноземное.

Я читаю показания свидетелей и одновременно слушаю четкий ее рассказ, разыгрывая его в воображении, как череду маленьких сценок. Вот отец Вали сидит за кафедрой и показывает дочери экзерсис. Вот Валя садится на табурет, лицо ее озарено вдохновением. Вот папа указывает на ошибку. Вот Валя играет вновь. И ученье, по ее словам, продолжается около часа. Вдруг — истошный крик. Все сбегаются к исповедальне. Старая Ивашкевич обмирает: «Мертвец!» Дядя Стась (Буйницкий) галопом мчит в милицию. Дядя Адам застыл ни жив ни мертв. Вале мерещится, что человек шевелится. Дядя Адам, художник и Валин папа кладут человека на пол. Художник пытается нащупать пульс — пульса нет, старушка права — человек мертв. Вале становится страшно. Появляются милиционеры и разрешают выйти из костела.

— Понятно, — говорит Локтем.

— Вот и все, — заканчивает Валя.

Зато мне покамест кое-что непонятно. Поэтому я прошу у Фролова разрешения задать вопрос свидетельнице и, получив согласие, спрашиваю ее:

— В какое время вы пришли в костела?

— В половине двенадцатого.

— Точно в половине двенадцатого?

— Я не засекала время, ну, может быть, без двадцати двенадцать, но не позже.

Я ей верю, она не могла убить, если только не окажется, что убитый -- преподаватель консерватории, ее учитель сольфеджио или чего-нибудь в этом роде.

Когда юная музыкантша покидает кабинет, я внимательно перечитаю протоколы, затем мы с Фроловым долго обсуждаем ситуацию и намечаем план моих действий. Затем Фролов уезжает, а мы с Сашей идем в ресторан, поскольку столовые и кафе уже закрыты. В ресторане, как водится, ссоримся с официанткой, которая свирепо убеждает нас, что мы ожидали ее не более десяти минут, хотя на часах Локтева — а у него японский хронометр — минутная стрелка проползла от десяти до половины десятого. Я пользуюсь случаем сказать Саше, что люди воспринимает время субъективно, как, впрочем, и все остальное. Ресторан расположен при гостинице, номер для нас уже заказан, мы оформляем необходимые бумаги и направляемся с визитами — Сашка к Белову и Жолтаку, я — к ксендзу Веригу.

До костельной ограды мы идем вместе, и я прикидываю, как следует говорить с Беловым, как с Жолтаком, особенно с последним. Пообходительней с ним надо, поучаю я, помягче. Он, верно, прокуратуру, милицию, внутренние войска не очень любит, да и я его некстати напугал. Кто его знает, о чем он приходит в костел молиться, может, чтобы все такие органы бог наказал. Обиженный. На преступника, по-моему, не тянет, но и это надо проверить. А днем весьма осмотрительно в свидетели не попал, за круг вышел. Так что, возможно, хитрец. И знает что-то, у дворников глаз наметанный, не удивлюсь, если все же свидетелем пройдет. И с ключом тут не все ясно. Начнет темнить — на слове не лови, потом разберемся. Если что важное, я здесь, у ксендза.

Зачем мне ксендз, я Саше объяснить не могу, и почему не беру его с собой — тоже не знаю; что-то меня тянет навестить ксендза, быть может, это любопытство -- один на один провести часок с человеком духовного сана, давшим обет, посвятившим жизнь — всю жизнь! сорок лет! даже не верится — столь редкому в наши дни и, особенно, в нашей атеистической стране делу, словом, с человеком, который мне непонятен.

В домике ксендза светится среднее окно. На мой легкий стук по оконному переплету занавеска приподнимается, ксендз, приставив козырьком руку, приближает лицо к стеклу и, узнав меня, идет открывать.

— У меня было чувство, что кто-то придет, — говорит ксендз. — Я сразу понял, что это вы.

Нетрудно догадаться, думаю я, наверное, Жолтак стучится несколько иначе.

Мы проходим в тесную комнатку, слабо освещенную лампой под выцветшим

абажуром. Стеклянная горка, продавленный диванчик, стол на изогнутых ножках, книжный шкаф, зеркало пятнистое, как шкура гепарда, — все серое, словно покрытое патиной веков. Из атрибутов нашего времени, помимо электросвета, я замечаю «Спидолу» и искренне удивляюсь:

— Общаетесь с миром, Адам Михайлович?

— В скучную минуту, — говорит ксендз. — Я знаю два языка, не считая славянских и латинского. Говорить, конечно, разучился, но понимаю.

Присаживайтесь. Пани Буйницкая подарила мне настойку. Не откажетесь?

— С удовольствием, — говорю я и гляжу на зеленый графинчик, он стоит на столе, а рядом с ним две рюмки; если он действительно, ожидал меня, то и у него есть чутье — точно мыслит.

К оконцу приставлен столик размером с шахматную доску, и на нем я замечаю толстый рукописный журнал, развернутый или незакрытый, я полагаю, не случайно.

Ксендз выходит на кухню, я делаю шаг к окну и впиваюсь взглядом в исписанную страницу. Я могу смотреть на нее тысячу лет, все равно, что написал ксендз Веригго, останется для меня тайной. Он пишет по-латыни, а я, увы, этот язык позабыл, позабыл даже те шестьдесят слов, которые некогда выучил для экзамена.

— Вы понимаете латинский? — слышу я удивленно-иронический вопрос ксендза. Он стоит на пороге, держа в руках тарелочку с колбасой.

— К сожалению, нет, — признаюсь я. — Так вы ведете дневник, Адам Михайлович?

— Это не дневник, так, случайные записи о некоторых местных событиях.

— Судя по дате, тут описано и сегодняшнее

Ксендз отмалчивается, разливая настойку.

— Ну вот, выпьем.

— За знакомство, — говорю я.

— Мне много нельзя, — объясняет ксендз, пригубливая рюмку. — Полгода назад язву прооперировали.

— Понимаю, — говорю я. — Меня резали трижды, один раз без наркоза, на улице. Так, Адам Михайлович сделайте милость, прочтите, заинтригован ужасно.

— Хорошо, — как и следовало ожидать, соглашается ксендз. Он надевает очки, садится к столику, ставит тетрадь под углом, старозаветно и серьезно, как дедушка внуку поучительные приключения Робинзона, начинает переводить мне свои записи. Возможно, он пропускает целые абзацы или импровизирует — этого я не знаю.

«Сегодня, как и во все другие дни, проснулся в семь часов. Как раз на ходиках хлопнула ставенькой кукушка и прокуковала свое утреннее приветствие. Я приготовил чай и сел к окну

читать "Лжсенерон". Еще не читая, а только коснувшись взглядом букв, я почувствовал гнет тоски за людей того далекого апостольского века, растерзанных львами, распятых, зарезанных, сожженных в смоле другими людьми, веселившимися в безумстве уничтожения. Возможно, как я думаю сейчас, это было предчувствие, но картины жестокостей, совершенных в прошлом, и страданий людей, погибших от надругательств, часто мучают меня — сердце мое щемит, тоска бессилия воздать добром за муки — и я, по обыкновению, стал себя убеждать в тщете переживаний. Много было людей, желавших мира между людьми, старавшихся для мира между людьми, образы их осияны славой удивления — не славой подражания. Тяжело терпеть, и нет награды за мир. Думая так, я поглядывал в окно на двор — тихий, спокойный, твердо огражденный трехсотлетней кладкой от городской суеты. Клены были пронизаны светом солнца, его лучи испестрили белые стены костела яркими пятнами. Я подумал: а людьми отвержен костел, где плоды моих слов?

В начале десятого кованая калитка закричала и пропустила в ограду художника и Буйницких; настроение мое беспричинно переменилось к лучшему, и я углубился в чтение, ожидая прихода органиста. Но без четверти одиннадцать случилось то, чего прежде в такое время не случалось — в дворе появился Жолтак. В глубоком недоумении я наблюдал, как он, сбросив пару досок рядом с трухлявой скамейкой, устремил взор на нишу, в которой стоит символ святого духа, и начал креститься. Слабая душа, подумалось мне, призываешь господина в наблюдатели мелкой своей работы. Потом минут десять я сидел, пусто уставясь в окно, тоскливо слушая стук его топора.

Но в одиннадцать часов, было ровно одиннадцать часов, мое настроение вновь резко переменилось, ибо пришел Луцевич. Я надел сутану и поспешил в сакристию, где уселся в столетнее дубовое кресло, тяжелое, отполированное до зеркальной гладкости одеждами моих предшественников. Луцевич импровизировал мажорную мелодию. Я забылся, душа моя витала под сводами костела, подобно тому, как дух святой витал над бесконечными круговоротами вод, среди прозрачного сияния сотворенного света.

Он играл недолго, четверть часа, и когда угасло звучание труб, я вышел на алтарь. Блестел вымытый паней Анелей пол. Сама она стояла у иконы Панны Небесной. Каждый день, закончив уборку, пани Анеля молится у этой иконы за своих деток-ангелов. Я проследил взглядом, как она поднялась с колен, прошла к выходу, перекрестилась в сенях и вышла из костела. И вдруг я увидел этого человека. Он стоял у колонны и смотрел вверх, на плафон. Расписанный итальянским мастером плафон, чудо живописи с непомерными за два столетия красками.

Любопытный, подумал я.

Я направился к художнику и, проходя мимо прищельца, встретился с ним взглядом. В

серых его глазах не было и тени любопытства; только неприязнь, настороженность, озлобление увиделись мне в них. И тут меня укололо предчувствие, что он принесет мне какие-то неприятности. Приезжий инспектор, подумал я, посланный обществом охраны памятников или уполномоченным по культам. Проверяет, почему мы реставрируем росписи, не испросив разрешения.

Органист вновь заиграл, но я уже не мог слушать орган и побрел домой. Нет, еще в притворе я встретил Белова. Он улыбнулся, как мне показалось, иронически и сказал: «Добрый день, Адам Михайлович». Мне подумалось, что Белов и приезжий человек взаимно связаны, что у них свидание, что они составят обвинительный акт, подрывающий мое спокойствие.

Я вошел в дом, было двадцать минут двенадцатого. Настроение мое металось от апатии к страхам. Сейчас я сознаю, что так проявляло себя предчувствие и паническое мое состояние соответствовало надвигающейся беде. Но тогда у меня не промелькнуло даже мгновенного сомнения — вот что удивительно! — что мои страхи несоразмерны обстоятельствам. Я уставился в страницу, но буквы прыгали, ломались, уплывали за обрез, в окно, и я вслед их незримому потоку поглядывал на двери костела, ожидая, когда инспектор Белов выйдут вон. Это ожидание поглотило меня, и все, что находилось перед глазами -- ограда, воротца, стволы кленов, работающий Жолтак, -- подернулось поволокой, потеряло очертания, объем, стало двумерным, как нарисованный на картоне пейзаж. Я заметил, что из костела вышел художник, потом ушел Белов, а может быть, это ушел органист или Буйницкий — все они стали похожи — тени людей, темные силуэты. Входил в костел и выходил из костела некто в сапогах. А инспектор оставался внутри.

Потом не последнем дыхании припелась старая пани Ивашкевич. Она стояла перед входом, многократно крестясь, но в костел не входила. Я понял, что она не имеет сил отворить тяжелые двери и просит господа оказать ей помощь. Она простояла не менее пяти минут, пока не пришла Валя. Но только обе женщины вошли в храм, как ограда наполнилась беспричинно веселыми экскурсантами. Так называемый затейник построил их - полукругом и отбарабанил какой-то вымысел про историю костела. Обычно я глубоко огорчаюсь, что люди с таким доверием слушают его невежественные речи, но сегодня это зрелище принесло мне облегчение. Я подумал, что тот человек, возможно, вовсе не инспектор, а тоже экскурсант, который пришел посмотреть костел в одиночестве и тишине, как и надлежит интеллигентному человеку.

Я посмотрел на часы — было десять минут первого — удивился, что прослушал милое мне кукование. Собравшись с духом, я направился в костел, полагая проверить свои успокоительные предположения. У входа в костел меня ждала мелкая неприятность. Только

я дотронулся до дверной ручки, как двери отворились изнутри и из костела начали выходить экскурсанты. Разумеется, никто не уступил мне дорогу, наверное, от удивления, что видят живого ксендза. Я стоял, как швейцар.

Войдя в костел, я внимательно огляделся — незнакомца в костеле не было. Я обрадовался, что мои страхи оказались ложными; это, однако, и огорчило меня, поскольку подтверждало, что я болен мнительностью — основным симптом старческого склероза. Тут ко мне присеменила пани Ивашкевич, и я увидел молящие ее глаза. Да, да, пани Ивашкевич, сказал я, идите к исповедальне, а сам еще минуту или две минуты продолжал стоять, раздумывая о старости. Даже не раздумывая, а чувствуя старость. Вот та же пани Ивашкевич была цветущая женщина, хорошо помню ее крепкие годы, а сейчас мы — два старых склеротика. Она будет таинственно шептать о страхах, а я буду и их слушать, думая о своем. Робко зазвучал орган — играла Валя. Слушая пани Ивашкевич, подумал я, послушаю игру Вали. Я подошел к исповедальне и отдернул штору. Человек, в котором мне мерещился инспектор, лежал в безжизненной позе, мертвые глаза его были открыты, на голове запеклась кровь...»

Ксендз закрывает журнал и глядит на меня с авторской пристальностью. Я благодарю его за доставленное удовольствие и пользу и при этом не кривлю душой, он отвечает, что рад помочь следствию, я отвечаю, что нисколько в этом не сомневаюсь, и опять же не лгу я уверен, что он хочет помочь, хотя я еще не определил направление его помощи — распутать узел или покрепче его затянуть. В его рассказе некоторые детали освещены недостаточно ясно, что естественно, поскольку он написан с бальзаковской скоростью.

— Адам Михайлович, — говорю я, — заинтересовал меня человек, обутый в сапоги. Не вспомните ли вы его подробнее?

— Боюсь, не смогу, — отвечал ксендз. — Меня одолевали невеселые мысли. Видел все, как говорится, краем глаза. Кто был тот человек — знакомый или незнакомый, не помню. Заметил его до пояса — сапоги, брюки, еще подумал — жарко, а человек в сапогах. — Ксендз огорченно разводит руками.

— Обидно! — вздыхаю я. — Вдруг это главная фигура происшествия. (Ксендз глядит на меня совсем уже виновато.) Вдруг окажется, что он из прихожан. Возможен и такой случай, Адам Михайлович. Если убийца из верующих, из людей костела, этот в сапогах, или, допустим, Жолтак, или Стась Буйницкий... Какие тогда последуют неприятности для вас?

— Самые разные, — сникает ксендз. — Фельетоны напишут, лекции начнут читать, черное с белым состегают. Впрочем, это неважно. Да и если виноват случайный человек, даже если и Жолтак, ну что, это в пределах вероятного зла. Если же, предположим, во что совершенно не могу поверить, убийство совершено Буйницким или в нем окажутся виновны

органист или Белов — опять же нереальное допущение, то лично для меня потрясение было бы огромное. Конечно, и для всех...

Ксендз замолкает, и мы прислушиваемся к озлобленному мяуканью за окном, которое началось довольно давно.

— Это мой Серый, -- объясняет ксендз. -- Сердится...

— Может, лучше его впустить?

— Я его наказал, — говорит ксендз, — украл там у меня на кухоньке кое-что...

— Да, коты, короткая память.

— Да, -- соглашается ксендз. -- Неисправимы.

— Чуть не забыл спросить, — спохватываюсь я. — Выходит, Адам Михайлович, что честь костела может быть дороже истины и сокрытие некоторых фактов выгодно, в интересах, скажем, прихода?

— Теоретически, — говорит ксендз. — Некому скрывать.

Возможно, и некому, думаю я. Кто знает, кто знает.

-- Позвольте задать вам вопрос? — спрашивает ксендз. — Наверное, существуют какие-то методики следствия. в чем их сущность, если не секрет?

-- Есть несколько методик, — говорю я. — На мой вкус, самую интересную предложили семьсот лет назад Бонавентура и Бэкон.

-- Философия? — удивляется ксендз.

-- Алхимия! — уточняю я. — Прекраснейшая из наук. Представьте себе таинственные, сокрытое от любопытных глаз подземелье. Печь, угли раскалены, прозрачная реторта поставлена на треножник. Ученый старец -- этаким Фауст — дрожащей рукой отмеривает ртуть, редкие земли, кровь агнца, змеиный яд. Полночь. Небесные светила устанавливаются в благоприятствующий порядок. Смесь в реторте кипит, возгоняется, над расплавом слоится бурый дым, появляется слой амальгамы; старец с надеждою и нетерпением ожидает, что среди грязного осадка заблестит драгоценный сгусток. Так вот примерно делает и следователь. Складывает вместе то-сё, третье, варит, колдует, иной раз по многу месяцев, бывает, и лет. Со мной был случай, я три года вот здесь, в голове, дело варил, наяву и во сне...

-- Три года! — восклицает ксендз и придвигается поближе.

-- Да, полных три года... — Я немножко привираю -- не три, а два, но их за четыре можно посчитать.

Заинтересованный ксендз обращается в слух, но в эту минуту чья-то рука приводит в действие дверной звонок. Саша, думаю я, и гляжу на ходики -- четверть одиннадцатого. Однако голос, приветствующий ксендза, мне не знаком. Буйницкий, думаю я. И не угадываю.

— Я просто так нашел. На огонек, -- объясняет органист.— Шел мимо — окно

светится.

Он в заметном подпитии: глаза блестят, винцом сильно попахивает, и и чувство равновесия его уже покидает -- он зацепился о порожек, толкнулся о шкаф, задел столик с журналом, а половичок при первом его шаге пошел складками. Рассеянный его взгляд, как магнитом, притягивает к графинчику, в зрачках мелькает снайперская зоркость — сколько отпили? — и бесхитростно отражается в довольной улыбке.

— Вы, я вижу, беседуете, — говорит органист. — Не помешаю?

— Нисколько, — отвечаю я. — Чем шире компания, тем веселее.

— И я так думаю, — говорит органист.

— Садитесь, пан Луцевич, — приглашает его ксендз.

Органист присаживается к столу и выставляет бутылку. — Не надо, не надо! — как от дьявола, отмахивается ксендз.

— Надо, надо. — настаивает Луцевич, и ксендз с тяжким вздохом ставит на стол третью рюмку.

— Я вот гадаю, — говорит органист, — закроют ли власти костел после случившегося?

— Для чего? — спрашиваю я. — Не прикрывают ведь ресторан, если пьяные насмерть побьются. Или театра, если актеры друг друга жизни лишат, за кулисами, конечно.

— Ресторан! Зачем же закрывать ресторан. Финансы! А тут костел, чуждое направление мысли, католическая идеология. Напишут статью: «Не местом бога есть костел святого духа, а пристанищем сатаны», — органист с видимым удовлетворением наблюдает муки ксендза. — И пудовый замок на ворота! По миру пойдем, пан Вериго, — заключает он и, как бы с горя, опрокидывает в рот полную рюмку.

— Вам это не грозит, — говорит ксендз. — Вы заработок найдете всегда.

— На свадьбах играть? Прошли те времена. Сейчас народ избалован — электрогитару подавай, да не одну — три, и чтобы солист, и ударник. Не в барабан же мне стучать на старости лет, пан Вериго. Эх, что и говорить! — органист вновь хватается за графинчик.

Послушать органиста приходит и Серый, вскакивает на стул рядом с хозяином и благопристойно садится на задние лапы.

— Сгорите вы, пан Луцевич, — предупреждает ксендз.

— Уже сгорел, — отвечает органист и постукивает себя по груди. — Это пепел. Мне пятьдесят шесть лет, а кто я? Кому играю? Старушки соберутся, поплачут о Христе, безбожных днях и хриstopродавцах. Так половина из них — глухие. Кто слушает меня? Один вы. Да, вы правы, сгорел, в рутине этой погряз...

-- А что вас, так сказать, засосало? — любопытствую я.

— Обстоятельства, — отвечает органист. — Ведь как получилось. Смотрите. Я —

органист. А после войны, когда были силы и охота, — органисты почета не знали, это теперь в моду вошло — орган, орган, светский, разумеется, орган в национализированных костелах. А тогда нет, скрипки, фортепиано, вокал — этим да, уважение и оклад. Учиться негде, выступать тем более. Хотел в Вильно податься или Ригу — там традиции, культура,— так пан Вериго отговорил. Органиста у него не было, погиб. Женился вот еще непонятно зачем. Так и остался у разбитого корыта. Одно утешение, что дочь в люди выйдет. А между прочим хочу сказать, играю профессионально. У меня есть пластинки — записи известнейших органистов, я сравнивал — не уступил бы на каком-нибудь конкурсе. Правда, пан Вериго?

— Пить надо меньше, — неопределенно отвечает ксендз. — Они не пьют.

— И мне хочется на пластинку, — говорит органист. — Исполнение ведь — следа не оставляет. Отыграл, звуки разлетелись, и все — забвение. Или вот, загноится палец, один пальчик, мизинчик хотя бы, отхватят его, и -- конец музыканту.

— А где вы учились на органиста? — спрашиваю я.

— Я, можно сказать, самоучка. Сначала у костельного органиста каликантом был — меха качал, он мне основу дал, потом в ковенской семинарии вторым органистом. Вот там был учитель — мастер. Сейчас таких нет.

Он опять наклоняет графинчик, и ксендз Вериго, слушая тихое бульканье настойки, мученически вздыхает.

— Ну что вы так осуждающе глядите на меня, — спрашивает его органист. — По-вашему, пан Вериго, если вы не пьете пива, так весь мир не должен его пить, а только думать о совершенствовании и воспитании воли.

— Господи, — морщится ксендз. — Пейте, пейте! Пожалуйста.

— Пан Луцевич, — спрашиваю я, — вы не помните, кто из людей, которые были сегодня в костеле, носит сапоги?

— Жолтак, — отвечает органист. — Он всегда и сапогах, зимой и летом.

— А кроме него?

— Кроме него, никто сапоги летом не носит. Какой дурак будет париться в такую жару. Только он.

— А Белов как был одет?

— Не знаю. Я его не видел. Когда Луцевич за органом, значит, он за органом. По сторонам не глядит.

— Выходит, вы и экскурсантов не видели?

— Этих видал. Слышу — топот, гляжу — припожаловали. Я им, конечно, кое-что и сыграл.

— Ну и зачем? — неодобрительно спрашивает ксендз.

— Можно и пошутить, — говорит органист. — Им все равно, они духовной музыкой не умиляются. Разрядка нужна. Играть тяжело, не думайте, что сел — и трум, трум, трум, как на балалайке. Вы-то, пан Вериго, должны знать. Ну, Серый, выпьем.

Серый при этих словах взвился в воздух, как коршун, упал на тарелочку с колбасой и спикировал в спаленку, унося в зубах добычу.

-- Ах ты, холера! — вскричал ксендз и кинулся его преследовать.

— Оставьте, оставьте терзать бедное животное, -- засмеялся органист. -- Жалко вам кусочка колбасы!

— Нет, ты не кончишь добром, — приговаривал ксендз Вериго, гоняя кота полотенцем, — ты скоро у людей изо рта начнешь выдирать, разбойничья рожа. Тебе уже все равно, что гости, что не гости. Я тебе покажу колбасу.

Обманным маневром кот вырывается из спаленки и уносится в прихожую.

— Нет, ты не уйдешь от меня! — направляется туда же ксендз. — Я тебя под землей найду! — но тут погоню за дерзким котом прекращает короткая трель дверного звонка.

— Это за мной, — говорю я удивленному ксендзу. — Мой помощник, от Жолтака возвращается.

Но я опять не угадываю — поздними визитерами оказываются Буйницкий и Петров.

— О, кого я вижу! — радостно шумит органист. — Милости прошу к нашему шалашу. Присаживайтесь.

— Да, да, присаживайтесь, — бормочет ксендз и покорно подчиняется органисту, который требует рюмки для новых участников этой тайной вечери.

— Э-э-э, пан ксендз, — мямлит Буйницкий, — видите ли, он хочет уехать...

Петров виновато опускает глаза:

— Да, Адам Михайлович. Вы уже не обижайтесь, извините, но я вынужден отказаться. Не смогу. Мне и в костел как-то боязно будет входить.

— Вы что, так суеверны? — спрашивает ксендз. — Впрочем, как вам угодно. Мы вам должны за работу. Завтра рассчитаемся. Вас это устроит?

— Ничего не надо, — отказывается художник. — Сделал я немного, можно сказать, ничего...

— Правильно, — ободряет его органист и поворачивается к ксендзу. — Оштрафуют нас за эти росписи, чует мое сердце.

— Я хочу вам сказать, — говорю я художнику, — что вам не следует покидать городок без разрешения следователя.

— Я понимаю, я понимаю, — поспешно заверяет Петров.

С Буйницким у меня сразу возникает недоразумение. Лицо его мне знакомо, хотя

никогда прежде я Буйницкого не встречал. Но раз мне знакомо его лицо, думаю я, значит, все-таки мы где-то как-то соприкасались. По моим делам он не проходил, в этом отношении память меня не подводит. Ну, а где еще мы могли встретиться и войти в контакт? В поезде? В уличной толчее? Волосы он зачесывает назад, две большие залысины доходят почти до макушки, лоб высокий, и сам он высокий и худой, лиц умное, на нем лежит отчетливая печать старого страдания; на органиста поглядывает с предубеждением; глаза серые, нос хрящеватый, кадык выдается заметно.

Нет, кажется, я Буйницкого не встречал. Мысленно я причесываю его то под «бокс», то надеваю кудрями, даю шапку-ушанку, армейскую пилотку, превращаю из шатена в блондина, а затем в брюнета и меняю на нем несколько нарядов — ничего это мне не дает. Такой тип лица, думаю я, региональный тип, таких лиц много, особенно на Гроденщине.

— Станислав Антонович, — обращаюсь я к Буйницкому. — Вы сообщили следователю о неизвестном, который заходил в костел незадолго до прихода экскурсии. Не вспомните ли вы его приметы подробнее?

— Особенных примет я не заметил, — говорит Буйницкий. — Это так произошло. Я услышал шаги, обернулся и увидел мужчину примерно моих лет, роста он на полголовы ниже меня, плотный такой, одет был в синий, темно-синий, костюм, кортовый, сапоги начищенные были, фуражку держал в руке, волосы седоватые, пострижены коротко, ну, еще вот что, небрит был, а костюм новый.

— Может, крестьянин, — подсказывает ксендз.

— Нет, не похож на крестьянина. Я еще нарочно мимо прошел, думая, что обратится. Я вышел во двор, поговорил с Жолтаком. Больше его не видел.

Внимательно слушая сакристиана, я наблюдаю за Серым, который вернулся из изгнания и прямехонько идет к ксендзу. Ну, будет порка, думаю я. Ксендз, однако, совершенно презрев свои обещания, берет кота на колени и начинает ласкать. О чем же это, Адам Михайлович, задумались, думаю я.

— Вот найдете вы убийцу, — включается в разговор художник, — его расстреляют?

— Если суд решит.

У всех просыпается мазохистское любопытство --как, как это происходит?

Я говорю, что процедура мне неизвестна, не интересовался — что в этом интересного?

— Да, ничего хорошего в казнях нет, — вздыхает ксендз.

Я констатирую, что Буйницкий, понюхав вино, испить его не решается. Вроде бы ему и хочется выпить — и колется, и он себе говорит: «Нет, нет, мне нельзя». В разговоре он не участвует, даже не слушает, что говорят; как и ксендз, он погружен в свои мысли. О чем оба они думают, я понять не могу. Также мне неясно, зачем он весь появился, приведя с собой

художника. Расстроить ксендза сообщением об отъезде Петрова он успел бы и утром. Дело неспешное. Поскучать возле ксендза? Поговорить с ним?

Беседа о казни и мысли об осуществляющем ее палаче вызвали минутное затишье за столом, и н считаю, что мне пора удалиться, о чем и говорю ксендзу.

— Пойду и я, — поднимается Буйницкий, — мне на дежурство заступать.

Художник и органист, зачарованные недопитой бутылкой, от стола не отрываются. Ксендз посылает сакристиану умоляющие взгляды, однако добрый и чувствительный Буйницкий их не замечает. Он будто бы и доволен, что выпивохи остаются. Такого поворота я не ожидал, он удивляет меня явной несообразностью. Сакристиан пришел с художником, уходит со мной, отчужденно просидев за столом десять минут. Чует мое сердце, как выражается органист, что Буйницкий поступает так неспроста, он нарочно выходит со мной; мне кажется, что он хочет со мною поговорить. Поэтому и я не отзываюсь на молчаливую просьбу ксендза Вериге уйти вчетвером.

Ксендз встает нас проводить, тут органист, очнувшись, кричит: «До свидания, до свидания!» — и запеваает «Гаудеамус».

— Господи! — шепчет ксендз.

— Господи! — повторяет Буйницкий.

— Уведите их, пан сакристиан, — просит ксендз.

— Они сейчас уйдут сами, — отвечает Буйницкий.

На мой взгляд, уйдут они очень не скоро. Пан Луцевич пропел печальную фразу «нас поглотит земля», за чем последовали чоканье и пожелания взаимного здоровья.

— О! — вздыхает ксендз.

— Доброй ночи, пан Вериге, — говорит Буйницкий.

— Да, да, — безнадежно соглашается ксендз.

Мы с Буйницким выходим на улицу.

— Вы думаете, ксендз прикажет им уйти? — спрашивает сакристиан. — Постесняется.

— Почему же вы их не увели?

— Пьяный, что малый, — некстати отвечает Буйницкий. — Привяжутся, а мне дежурить.

Я жду, что он скажет что-либо поинтереснее, но он молчит, и я причисляю его появление у ксендза к загадкам, которые необходимо разгадать.

Полночь

Я возвращаюсь в гостиницу в хорошем настроении. Первый день следствия близится к

концу, все идет как по маслу — кто убил, неизвестно, кого убили и почему, тоже неизвестно, подозреваемые лица исчисляются магическим числом семь. Ксендз, директор музея, органист, художник, сакристиан и двое в сапогах — дворник Жолтак и еще Некто. Можно причислить сюда и костельную уборщицу пани Анелю. Но тогда число возрастет до восьми и утратит свою магическую привлекательность. Поскольку ксендз зафиксировал в своем диариуше, что пани Анеля покинула костел еще при жизни неизвестного, я пока что оставляю ее в стороне. Беседа с ней — дело завтрашнего дня. Кроме того, я участвовал в беседе, окончившейся согласно обычаям нашего края песнями, познакомился с большинством свидетелей, был угощен натуральной настойкой, заподозрил ксендза в графомании, органиста — в тщеславии, сакристиана тоже заподозрил, хотя и не знаю в чем. Так что, «все хорошо», как некогда пел Утесов. Я, разумеется, не пою, я не органист, я только думаю про себя, что все хорошо, по крайней мере, есть над чем подумать.

В номере я нахожу Локтева. Оказывается, он ждет меня уже полчаса и уже волнуется, жив ли я и здоров. Вид у него понурый, на лице гримаса неудовольствия, некоей даже обиды, из чего я заключаю, что от Жолтака и Белова он удовлетворения не получил. Да и получить не мог — он молодой, ему результаты нужны. Ему кажется, когда найдем убийцу, тогда и праздник настанет. А само следствие, поиск, парение в воздухе, как у орла, который следит добычу,— это ему пока непонятно. Он еще «пинчер» — кинуться на преступника и вцепиться, потом на следующего и так далее, а там — ура! — чистота среди людей. А меж тем я его учил, что нельзя так заблуждаться, поскольку преступность, увы, в обозримое время неискоренима. Девять процентов населения в любом городе или селе рождаются с патологией психики. Из них рекрутируются гении, всевозможные чудачки и, к сожалению, криминальные элементы. Прав оказался профессор Ламброзо в своем споре с утопистами, а ведь сколько ушатов грязи было вылиты на его имя за теорию о прирожденных преступниках. Конечно, думать, что некоторых из них в данную минуту папы и мамы катают в колясочках, не очень приятно, но можно б утешиться тем, что хоть в детские свои годы они доставляют радость...

— Чего это ты, Саша, кислый? — спрашиваю я. — Как время провел?

— Попусту, — отвечает Локтев. — Пришел к Белову. Стучу. Открывает пацан. «Папа дома?» — «Сейчас вернется. А вы кто?» Объясняю. «Можете подождать», — говорит. Сажусь, жду. Десять минут. Двадцать. Приносит «Науку и жизнь». «Вот практикум психологический, разгадайте». Разгадал. Еще полчаса к черту. «Куда же папа ушел?» — «Ой, — кричит, — забыл. На рыбалку. Извините!». Ах ты, думаю, сопляк. Пошел к Жолтаку. Этот дома сидит, в окнах свет, дверь закрыта. Стучу — ни слуху ни духу. Стучу в окно — к окну подошел. «Кто вы такой?» — спрашивает. «Милиция». — «Документ ваш покажите», — куражится. Показываю. «К стеклу его приложите», — с издевкой такой, вдруг, мол, фальшивый.

Приложил. Читал, читал, думаю, не откроет, повестку, скажет, пришлите. Запоры открыл, крючки откинул-впустил. «По какому, извините, делу?» — «По делу убийства в костеле». — «Я, — говорит, — к убийству никакого отношения не имею. Я и узнал про это убийство днем. Соседка сказала. Жолтак, говорит, в костеле человека убили, пошли скорей. Как, говорю, в костеле? Не может быть. Господи, врешь». И пошел, и пошел, да все около. Ничего не видел, не слышал, скамейку строгал, кто мимо ходил — не смотрел: ходят люди — значит, надо им ходить. В костел заглянул на минуту, а почему на минуту -- потому что в рабочем был костюме — неприлично, значит. Знает что-то, прикидывается дураковатым. Ведь что стал говорить: «Чем Жолтак виноват? В тюрьме сидел? Так сама же милиция и посадила. А теперь Жолтак помогай». А я, Виктор Николаевич, о помощи и слова не сказал. «И рад бы содействовать, — злорадно так улыбается, — да не знаю, кто там кого убил. А что Жолтак в тюрьме сидел, так тут таких, что сидели, двадцать пять, а то и больше процентов».

-- Культурно расстались? — спрашиваю я.

-- Виктор Николаевич! — обижается Локтев.— Что за вопрос?

— Ну и хорошо, — говорю я. — Журнал прочитал, с Жолтаком познакомился. Как он живет?

— Простенько. Кровать, стол, шкафчик, половинок. Он, кстати, ужинал, когда я пришел. Чесноком от него несло ужасно.

— Напрасно ты фыркаешь, — говорю я. — Полезен чеснок. Петр Первый любил, водку закусывал.

— Сравнили! — отвечает Саша. — Жолтак без водки.

Тут я вспоминаю, что выпил три рюмки. Рюмка, правда, была маленькая, ксендз наливал ее наполовину, органист под ободок, в общей сложности я выпил граммов сто десять. Маловато, чтобы лечь и заснуть.

— Давай газету читаем, — предлагаю я, — «Известия».

— Где ее взять? Она же в сейфе.

— Не волнуйся, не все такие забывчивые. Здесь газета, прихватил я ее, на всякий случай.

Саша раскладывает газету на столе, и мы вглядываемся в печатные строки с гораздо большим вниманием, чем обладатели лотерейных билетов. Газета, вернее, половина газеты, страницы третья и четвертая, датирована апрелем, ей три месяца. Поэтому непонятно, для чего покойный держал ее при себе. Возможно, он читал газеты раз в квартал — такие люди, как это ни удивительно, еще существуют. Может быть, он вообще ее не читал, а носил с собой для каких-либо нужд — налицо только часть газеты. Однако сгибы не потерты, свежие, сложена она недавно. Мы просматриваем строку за строкой, надеясь найти отмеченные слова,

цифры или даты, но отчерков, птичек, игольных наколок ни на одной, ни на другой сторонах листа нет. Ничего из этого не следует. Мало ли почему человек носит в кармане газету. Возможно, здесь напечатана его статья, или статья о нем или о знакомом, или что-нибудь такое, что ему интересно для дела. Мы начинаем читать материалы третьей полосы, не просто читать, а вчитываться с тщательной придирчивостью кляузника, выискивающего опечатки.

В центре страницы помещена фотография — четыре молоденькие ткачихи делятся производственным опытом. Возможно, одна из них его дочь или племянница, или он их сфотографировал... В этом случае его фамилия Ковалев... Левую боковую колонку занимают стихи о джигите — перевод с казахского. Написал их, безусловно, не покойный, но он мог быть переводчиком — тогда он называется Федоров... Подвал отдан разбору научно-популярных фильмов, он подписан искусствоведем Лидиной. На псевдоним это не походит, и можно допустить, что он режиссер, или оператор, или сценарист одного из фильмов, которые хвалит и ругает Лидина, или же он попросту зритель, который доволен точкой зрения автора... Большая статья посвящена проблемам хранения овощей, но автор ее некто Мухамедов, а покойный типичный славянин... Разве что он работает заготовителем.. Еще тут есть рассказ о буднях моряков Тихоокеанского флота, однако трудно поверить, что он военный корреспондент и прибыл сюда из Владивостока... В колонке информации сообщается о приезде в Москву группы японских вокалистов, о находке узбекскими археологами уникального могильного сооружения, об удачах ненецкого охотника Федосеева. Опять-таки покойный не японец, не узбек, не ненец — у него иной разрез глаз...

Еще газета информирует читателей, что Политехнический музей пополнился новыми экспонатами, что некому бывшему сержанту Клинову вручен орден Славы за подвиг, совершенный во время войны, что ВАЗ набирает мощность... Все, переворачиваем лист... Опять фотоснимок — поезд, возле него машинист... Может быть брат покойного. Если родной брат, то фамилия его Кухарев... Вверху представлены два рисунка некоего Буренкова — «Весна в лесу» и «Утро на ферме». Неплохие рисунки... Запомним, Буренков... Большое спортивное обозрение, но на спортсмена убиенный не смахивал... Фельетон о недостойном поведении терапевта Беловой подписан И. Ивановым... Иван Иванов или Игнат Иванов... Вернее всего, псевдоним... Если он фельетонист из «Известий», то старую газету в кармане бы не таскал... Вероятнее, он пациент этой злобной Беловой, пострадавший от ее услуг... Зарубежный калейдоскоп: хитроумный побег из- тюрьмы, дрессированный кот, опускание Венеции... Интересно, но не для нас... Теле- и радиogramмы... Прогноз погоды... Адрес редакции...

И ради адреса мог держать...

Итак, два десятка фамилий, люди из разных республик и городов. Девяносто девять шансов из ста, что никто из них отношения к убийству не имеет, убитого не знает, и вообще, газета положена в карман, чтобы в магазине хлеб завернуть. Но один шанс есть, ибо зачем человеку носить половину старой газеты во внутреннем кармане, где обычно лежат документы и деньги? С другой стороны, не могли же его интересовать все материалы? Наверное, один, но за три месяца его можно выучить, как песню. Кроме того, можно было сделать вырезку. Наконец, эти три месяца пиджак с газетой мог висеть на вешалке. Многовато загадок, думаю я, хватит на первый день.

Я подвигаю кресло к окну, обмякаю в нем и смотрю на редкие созвездия, слабо сияющие на тусклом небе. Локтев начинает читать по второму разу, выписывая нечто в блокнот.

Засыпать, как нормальные люди, то есть лечь в постель, накрыться, смежить веки и через минуту уснуть, я не умею. Мне обязательно надо готовиться ко сну: отрешиться от дневных забот, расслабиться, подвести итоги, освободиться от них, придумать что-либо приятное. Это ритуал, условный рефлекс, который я долго вырабатывал и о котором не жалею. Это полчаса полной воли, самое приятное время следствия, его нирвана.

Я смотрю в окно и вижу другие звездные ночи, красивые, с множеством ярких звезд в черном небе, звездные отражения в озере, зимние звезды над снежным полем, осенние звездопады, туманную поволоку Млечного Пути. Это мои воспоминания или мечты — не могу отличить, ведь между памятью и воображением нет резкой границы. Потом воображаемые звезды отодвигаются, гаснут, их закрывает занавес мрака, и он колышется, совсем как занавес в театре после звонка. Там, за занавесом, идут последние приготовления к спектаклю. Топочут сапоги рабочих сцены. Костюмерша сдувает пылинки с сутаны ксендза, реквизитор ставит подсвечник возле иконы, вкладывает в карман главного героя загадочную газету, некто держит в сумке кота, помреж садится к пульту, включает рампу, художник по свету готовит свой проекционный фонарь... Черный занавес раздвигается. Это театр. Нелепый, бессмысленный спектакль. Воскресший покойник садится на скамью и, не произнося слов, дожидается, когда наступит его время умереть... Вот художник, поведив по заднику кистью, спрыгивает с подмостей и удаляется в кафе выпить вина... Он удаляется, и по закону сцены на ней тут же возникает новый персонаж — существо в сапогах. Сильной лапой он хватается за подсвечник и опускает его на голову жертвы. Просто так, чтобы из уст старого ксендза извергся крик страха...

Потом он уходит, а художник возвращается, будто между ними установлена связь... Уныло выходит из-за кулис Жолтак с топором в руках, преклоняет колена, крестится и уходит. Эпизод сыгран, но неудачно — он забыл произнести положенный текст и

возвращается на сцену, однако вечером... Буйницкий расхаживает вдоль костельной ограды и с серьезностью пенсионера вдыхает свежий воздух. Словно под сводами костела его душит запах тления или он очумел от гудения органных труб, которые нагнетают тревогу... Под звуки хорала неслышно крадется Белов украсть шитое полотенце... Надышавшийся свежим воздухом сакристиан начинает тереть хоругвью бронзовый подсвечник, он делает это с тщанием дворецкого... Серый вылавливает из кастрюльки куриную грудку... Ксендз пишет рассказ о своих переживаниях... Пьяный органист возвещает действующим лицам, что их поглотит земля...

Вот такие сцены. Есть единство места, а единства действия и времени нет. Ко времени вообще наблюдается общее отвращение: время застыло, ход часов приостановлен, о времени никто не желает вспоминать — оно . приближает к смерти. Одного бессмертная Жнея уже скосила. Кто из героев этой пьески будет следующим?

Еще одна сценка — . появляется толпа статистов, изображающая экскурсию, и удивляет их поведение.

— Как ты думаешь, Саша, — спрашиваю я, — почему никто из экскурсантов не глянул в исповедальню? Из двадцати человек ни один!

Локтев отрывается от газеты и начинает соображать, а я думаю так: если их любопытство кто-либо сдерживал, то этот человек и есть убийца.

Утро

В половине девятого, одолжив в райотделе мотоцикл, мы едем в дом отдыха — шесть минут увлекательной езды по лесной заасфальтированной дороге. Как в сказках Шахразады, первый встречный оказывается и необходимым, это понятно сразу, поскольку он вооружен аккордеоном — столь же необходимым атрибутом своей профессии, сколь важен для мясника нож или для пастуха кнут. Се и есть пастырь отдыхающих, супостат скуки, рассказчик историй, которые вызывают страдания ксендза, штатный организатор, добычающий себе пропитание затеями. Мы подруливаем к нему именно в ту минуту, когда он прикнопливает к щиту объявлений очередную свою затею — приказ о том, что сегодня в девять тридцать флотилия «Летучий голландец» отправляется в четырехчасовую экспедицию; цель — встреча с Нептуном; курс — зюйд-вест; форма одежды — боевая, пляжная.

Локтев объясняет, кто мы и чего хотим, и предъявляет для опознания фото убитого. Глянув на снимок, затейник убежденно отвечает, что в последних заездах отдыхающих этого человека не было; в костеле он также его не видел, но, может быть, потому, что был сосредоточен на своих обязанностях экскурсовода. «Сейчас все устроим», — обещает

затейник и решительно и охотно направляется в столовую. «Внимание, внимание! — кричит он этак нараспев и торжественно, как герольд. — Вчера в костеле произошло трагическое убийство человека. К нам прибыли товарищи из милиции. — Тут он делает паузу и успокоительно машет руками: мол, не расстраивайтесь, не портите себе аппетит, ничего страшного, обычное развлекательное мероприятие. Поэтому всем, кто вчера был на прогулке в городе, — голос его звенит оптимизмом, — после завтрака надлежит задержаться. Наши показания, товарищи, окажут нашей милиции неоценимую помощь».

Завтрак, естественно, ломается, за столами волнение, вздохи, и фантастические домыслы, и нелепые шутки. Кто-то кричит: «Петя, кого, кого убили?» Ему кричат: «Ксендза убили». Еще кричат: «Иностранца распяли на кресте». И так далее. Люди более чувствительные завтрак оставляют и бредут к выходу, возле которого стоит Саша с фотоснимком. «Встречали?» — «Нет» — «Проходите». — «Встречали?» — «Никогда!» — «Следующий». Никто не встречал.

И вдруг две девушки заявляют, что видели этого человека позавчера на лодочной станции сидел у лодочника. Они брали весла, и он еще сказал им время — было десять минут седьмого. Кроме них, однако, покойного никто не запомнил. Экскурсанты, как мы и ожидали, в костеле его не видели. Локтем предлагает им наш козырный вопрос: не трогал ли кто-либо из присутствующих подсвечники, не подходил ли к атларю не садился ли ради любопытства на место ксендза в исповедальне? Увы, ничего такого они не делали, потому что рядом с ними все время маячил высокий такой мужчина и шипел подобно старому гусаку: «Нельзя трогать! Нельзя ходить! Нельзя смотреть!» — такой бледнолицый, с длинным носом, оттянутым вниз.

Не приходится гадать, что в роли цербера, охраняющего исповедальню, выступил сакристиан костела;.., бывший учитель, несчастный отец, добрый, по мнению ксендза, человек, Буйницкий Стась Антонович.

Самообладание у Буйницкого ничего, хорошее, надо отдать ему должное, и действовал он последовательно и логично. Четко думал. В половине второго -- органист и Валя ушли бы домой, художника каким-либо образом выпроводил — костел пуст, можно толково распорядиться с трупом, перетащить в подвал, а там наверняка есть тайник. Концы в воду. Предусмотреть, что старая Ивашкевич попросит исповеди, он не мог, и Вериго появился против своих правил. Это случайности, от них страховки нет. И когда план сломался, не запаниковал. Нервы в порядке. Сам за милицией пошел. Шиканье на экскурсантов, конечно, не доказательство, но как косвенное пройдет. Однако же уверен, холера,— свидетелей нет, броня неплохая.

Меж тем затейник ведет нас знакомить с лодочником — Фадеем Петровичем, будка

которого, обвешанная спасательными кругами, стоит на берегу реки рядом с пляжем. Тут нам приходится ожидать полчаса, пока он выдает весла участникам экспедиции. Помимо того, что лодочник сильно хромотает, у него нет левой руки, и он представляется мне жертвой моря, таинственного кораблекрушения, свирепого урагана, смывшего его за борт, нападения акул; старый морской волк, способный скорее расстаться с жизнью, чем с мичманкой и тельняшкой, хранящей запах тропических пассатов; боцман торгового судна, отличавший моря по цвету и вкусу соленой воды, заброшенный на пресное мелководье, к прогулочным лодкам, в которые садятся пышные красавицы и напевают песни о судьбе моряка...

Лодочник, обеспечив флотилию веслами и черпаками, садится отдохнуть, и тут мы предлагаем ему посмотреть фотоснимки.

-- Знаю, — говорит он уважительно. — Это Алексей Иванович. А что с ним? Какой-то он будто неживой.

Саша объясняет, что так оно и есть.

Это известие как ветром сдувает с Фадея Петровича его капитанскую солидность, он выкрикивает петушиным голосом: «Значит, нет больше Ивана Алексеевича!» и застывает в минутной кручине.

— Все! — говорит он. — Отрыбачил!

— А как фамилия Ивана Алексеевича?

— Алексея Ивановича, — поправляет лодочник.

— Вы только что сказали Ивана Алексеевича.

— Нет, Алексей Иванович, — неуверенно утверждает лодочник и впадает в унылое раздумье. — Может, и Иван Алексеевич, — соглашается он. — А фамилии его я не знаю.

— А кто он?

— Рыбак, — отвечает Фадей Петрович. — Он отдыхал у нас в доме отдыха три или два года тому назад. Рыбачили вместе. Понимающий человек. День назад приходит, здравствуй, говорит, Фадей Петрович. Узнаешь меня? Я гляжу — знакомая внешность. Я, говорит, Иван Алексеевич. Помнишь, как сома тащили? Ну, я вспомнил. Опять к нам, говорю. Договорились вчера порыбачить, а его, значит, вы говорите, уже и нет. Пошел на дно, значит.

— А где остановился Иван Алексеевич, не знаете?— спрашивает Локтев.

— Я говорю, здесь. Понравилось ему у нас.

С пристани слышатся крик затейника: «С якоря снимать-ся!», многоголосое «Ура!», туш — это «Летучий голландец» трогается на встречу с Нептуном. Мы глядим в окно на скопление веселых женских лиц, которые начинают петь что-то про Одессу, про синее море и ненаглядных невест, причем самым серьезным образом и самозабвенно, как на сцене поют.

Сирены уплывают, хлопая веслами; Саша «отчаливает» к администратору, а я остаюсь

в будке слушать Фадея Петровича. Лодочник открывает свои воспоминания подробнейшим описанием сома, которого он и Иван Алексеевич брали возле плотины. «Ах, какой это был сом! — восклицает он. — Иван Алексеевич так и остолбенел!»

Столбенею весьма скоро и я, поскольку все его воспоминания связаны с рыбами: плотва, красноперки, щучка этакая и такая, какой-то ручей с хитроумной форелью и так далее. Я не ихтиолог, знание рыбьих повадок мне ни к чему, а пристрастие Ивана Алексеевича, или Алексея Ивановича к рыбалке поводом для насильственной смерти послужить не могло. Во мне, правда, срабатывает защитный рефлекс, я слушаю лодочника краем уха, сознания, что истории о рыбах бесконечны; для Фадея Петровича рыбы разнятся между собой, словно люди, каждая имеет чуть ли не свой характер, он их индивидуализирует; и мне приходится слушать не об Иване Алексеевиче, ловившем рыб, а о рыбах, ловленных Иваном Алексеевичем; я мысленно зеваю, но молчу, поскольку Фадей Петрович находится в некоем сказительном трансе, слова исходят из него, словно под гипнотическим влиянием. Глаза его, хоть и устремлены на меня, меня не видят, я — прозрачное облачко на пути его взгляда, который зрит водную гладь, белое перышко поплавка, легкую тень рыбы, подсматривающей сквозь пласт воды на фигуру Ивана Алексеевича, застывшую в терпеливом ожидании, подсматривающей за ним немигающим рыбьим оком до тех пор, пока он покажется ей деревом, а удилище — его длинной ветвью, с которой спустился в воду паук. И, о! вскрик удачи, рыбацкое счастье, хвастовство. Все это, хоть и характеризует Ивана Алексеевича как человека положительного, по существу, бесполезно; драматические коллизии Ивана Алексеевича с рыбами не имеют выхода на людей, а убили его все-таки не рыбы. Поэтому я думаю о Буйницком, который, под влиянием рассказа Фадея Петровича, представляется мне щукой, преочень хитрой и осторожной; он и внешне похож на нее — такой же вытянутый, острие нос и подбородок, уши, правда, оттопырены, но это для острого слуха.

И, о, эврика! — да это же он отец дочери органиста.

Все признаки идентичны, думаю я. Может, и органист об этом знает — ведь развелся с женой. А может, и не знает. Двадцать лет назад это было, еще географию преподавал. Впрочем, какое это имеет значение? — думаю я. Кто без греха? Он всего лишь сакристиан, а не папа римский. В то время в бога не верил — грешил, пану Луцевичу рога наставил. Это обязательно надо уточнить, осторожно, конечно, вдруг органист и не подозревает такого подвоха, зачем ему глаза открывать.

Долго, однако, Фадей Петрович говорит. Рыб столько нет, думаю я, сколько он говорит. Я приподнимаюсь прощаться, и лодочник, видимо, от страха потерять слушателя, восклицает, что вспомнил самое главное: у Ивана Алексеевича в городке приятель. «Так он сказал,— говорит Фадей Петрович.— Завтра, говорит, утром подойду в город с другом поговорить,

много лет не виделись, а к вечеру буду, ты меня жди». Еще и снасти попросил взять. Я его обождал немного, потом, думаю, не придет, выпили они там крепко.

— Как звать друга?

— Этого не сказал.

Значит, приятель, думаю я. Ничего себе приятель, суровый, пальца в рот не клади, недаром на щуку похож. Славная, надо сказать, дружба. Хотя чему удивляться, худшие враги как раз их старых приятелей и выходят. Так что преступление осмысленное и, судя по скорости, предопределенное. Покойный, правда, рыбу собирался ловить после этой встречи, покушения на свою жизнь не предполагал, но ошибся. А может, и предполагал, заметил же ксендз в его глазах настороженность, неприязнь -- видно, не устерегся, убийца посильнее был, похитроумнее. Глуповат оказался Иван Алексеевич. Верно, обговорили что-то ледяным шепотом, нечто для убийцы опасное, знаменателя не нашли, и Иван Алексеевич направился к выходу, может быть, еще и пригрозил — гляди, пожалеешь, жди — в милицию иду. И так, он направился к выходу, не сторожился, уверенный, что нападение невозможно — играет орган, костел полон звуков, в костеле посторонние. Но именно потому, что звучат органные трубы, убийца наносит удар. Зачем? Зачем? — последний вопрос в триаде неизвестных, которыми выражается убийство: кто? кого? Зачем? или: кто убил? кто убит? причины? Первое предположительно известно, второе Локтев должен установить по прошлогодним регистрационным журналам, а третье придется копать. Убийца не хулиган, так что причины должны быть веские, тяжелые, такие глубоко лежат.

В том, что делает сейчас Локтев, ничего сложного нет, элементарная следственная работа — веди себе пальцем по столбцу имен и отчеств, замечая Иванов Алексеевичей или Алексеев Ивановичей. Ни и тех, ни других, однако, Саша еще не обнаружил.

Но в одиннадцать часов, то есть через сутки после того, как началось это дело, Локтев вскрикивает в чрезвычайном удивлении:

— Смотрите!

И есть чему удивиться. Отдыхавший здесь в августе 1968 года Алексей Иванович имеет фамилию Климов. Тот самый Клинов, который попал и газетную хронику. Только и остается сказать: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

Газета у нас с собой, и мы с жадностью и нетерпением» перечитываем сообщение, которое называется «Слава» нашла солдата»:

«К трем боевым наградам бывшего сержанта-разведчика Алексея Ивановича Климова недавно прибавилась четвертая — орден Славы III степени. Он искал своего владельца двадцать шесть лет. В настоящее время Алексей Иванович работает механиком на ремонтном заводе, он известный рационализатор, передовик труда».

И в журнале в графе «Место жительства» указано: Гродно, улица Торгово-Набережная, дом шестьдесят пять, а в графе «Место работы» — ремонтный завод.

— Невероятной — восклицает Локтев. — Такой человек и костел.

— Вот именно, — безрадостно соглашаюсь я. — Антиподы.

Плюс и минус, думаю я, по внешним статьям. Что же их притянуло? Какое общее дело? Тот сюда приехал, а не этот туда, и сначала к Фадею Петровичу пошел, а в костел вторым делом. Где же он ночь ночевал? Ну, это просто. Итак, он сюда приехал.

У лодочника его видели в начале восьмого; выходит, в костел мог прежде зайти или закрыт был костел. Когда же он приехал?

На столе администратора досадливо звонит телефон.

Локтев снимает трубку, лениво говорит: «Алло» — и неожиданно преображается: «Вас просят».

-- Кто?

-- Райотдел.

-- Слушаю, — говорю я и быстро прикидываю, что там могло произойти экстренного.

-- Иксанов? Это Максимов говорит. Товарищ майор, слышите меня? Приезжайте. Жолтак повесился...

День

На потертom половике лежит опрокинутая последним движением табуретка, а над ней висит Жолтак. Смерть наступила давно, часа в два ночи, то есть через три часа после беседы с Локтевым.

-- Кто его обнаружил?

— Опять ксендз.

— С чего это он покойников постоянно обнаруживает?

— Бог его знает! — говорит Максимов.

Зачем, думаю я, ему было вешаться? Дворник, рядовой дворник, а дворники подобным образом с метлой не расстаются. Я обвожу взглядом комнату, надеясь увидеть предсмертное письмо.

— Ничего не трогали?

— Мы — нет, — говорит Максимов, — но до нас здесь полулицы побывало.

Ну и что, думаю я, была бы записка, никто бы ее на память не забрал. Но уход в лучший мир без прощального слова, без глотка водки уже как-то не в ладу с нашими обычаями. Покрепче его люди, думаю я, не удерживались объяснить причины такого решения. Правда, вчера он хотел исповедаться, но в десять часов чеснок ел с картошкой, это в

последний-то раз! Потом к нему пришел Локтев, и он чего-то темнил и дурака валял, однако для самоубийцы слишком уж умеренно и благопристойно. А через три часа привязывает веревку к крюку для подвесной лампы, становится на табурет и набрасывает петлю на шею. Этого не может быть, говорю я себе, потому что этого не может быть никогда. Положим, думаю я, ему надоело подметать улицы, он возжелал вечного покоя, но момент самоубийства с определенной точки зрения торжественный, символический, он исполнен важности и особого смысла — обычно люди стараются одеться поприличнее, сделать распоряжения, высказать последнее желание, пусть скромное, хотя бы о месте захоронения и тому подобное. А на Жолтаке рабочий костюм, старые кирзовые сапоги, рыжие, протертые до дыр. Откуда такое небрежение к смерти у человека, который днем постеснялся в костеле задержаться из-за этого самого костюма.

Интересно его гардероб посмотреть. Может быть, был беден, как церковная мышь, все свое носил с собой.

— Саша, открой-ка шкаф. Глянь-ка.

Пальто зимнее, синее, воротник каракулевый, искусственный; пальто демисезонное, серое, потертое; три платья, но это, верно, от матушки остались; пиджак коричневый, нет, костюм — брюки на гвоздике висят -- полушерстяной, малоношенный, чистый... мог надеть, не надел.. брюки черные, хлопчатобумажные, новые; рубашка серая, сатиновая, старая; рубашка желтая, шелковая, малоношенная; туфли черные, размер сорок второй, цена тринадцать рублей, новые совершенно... мог же приодеться.. ну, да мало что -- забыл; положим, забыл от волнения.

Тихий маленький человек, набожный дворник, икона, вот, висит, ее не постеснялся, и такой сюрприз — бурление страстей, спринтерская скорость, рассеянность профессора, -- скок на табурет, и да свидания. Даже «до свидания» никому не сказал. Вот я, если бы я решил покончить с собой тем же способом; какой избрал он, что бы я сделал? Написал бы письмо: «В моей смерти прошу никого не винить, хотя частично в ней виноваты такие-то». И так далее. Сжег бы письма, это обязательно. Прибрал в комнате, чтобы не сказали: «Экое — развел свинство». А может быть, и не стал бы прибираться, чтобы лучше запомниться. В отличие от него выпил бы медленными глотками стаканчик, вспоминая детство, юность, удачи, а потом неудачи, доказывая себе, что скоро почувствую себя более счастливым, чем сейчас. Подведя черту, я становлюсь на стул, привязываю веревку к газовой трубе, налагаю на себя петлю и, почувствовав ее змеиное объятие, говорю: «Нет, еще не пора!» Положим, однако, решил, шептал человечеству: «Прощайте!» — и соступил во мглу. Проходит какой-то срок, меня ищут, ломают двери, набиваются все мои знакомые, мастера, суперкласс розыска и не верят своим глазам. Не может быть, восклицают они, так же, как и я в эту

минуту, и ищут доказательства.

Вот мое письмо, графологический анализ подтверждает, что оно мое, вот отпечатки пальцев на бутылке, стакане, газовой трубе, стуле — дактилоскопический анализ и это подтверждает, вот опросы сотрудников — да, был какой-то чумной, заговаривался, таинственно улыбался, обещал чем-то удивить, работу забросил... И так далее.

Прибывают эксперты, не воображаемые, а по вызову, и начинается обычный, скрупулезный осмотр места происшествия. Осмотр одежды, осмотр тела, снятие отпечатков. На крюке и табуретке следов пальцев нет, чисты. Время смерти — между половиной третьего и тремя. Я мало ошибся. В сундуке под барахлом сберкнижка, на счету двести десять рублей. Никому не завещана. Медицинский эксперт тянет меня в сени и шепчет, чтобы не слышали понятые, что следы удушения дать повод думать об инсценировке самоубийства. Теперь понятно, почему не завещана. Убийство -- продуманное, жестокое, работал профессионал, улики не оставил.

Улик нет, но он должен иметь алиби, думаю я. Любопытно, как он представил свое алиби.

Живет Буйницкий недалеко, на соседней улице, но я иду долго, не спешу, соображаю, какие будет привлечь доказательства, уличающие его лжи. Он скажет: «Я дежурил. В два часа обошел территорию, проверил, все ли в порядке, все ли на месте, не забрались ли в цеха разбойники полакомиться маслом. Во время обхода никаких следов воровства не заметил, никто из живых людей мне не встретился». Что возразить? Обход территории продиктован служебным долгом. Если в ночь дежурства хищения ценностей не произошло, служба исполнена безупречно. Потому и порядок, что охранял активно. В заборе, верно, есть дыра. Путь туда, путь обратно по темным улицам. Хватятся Жолтака днем. И кто хватится? Если бы не ксендз — зачем он его искал? странно! — черт знает, сколько бы провисел. А хватятся — так первые, главные, минуты следствия пройдут в недоумении: повесился? Доказывайте! Кто-то слышал звук моих шагов? Кто-то видел мою тень в тени деревьев? И зачем мне его убивать? Двадцать пять лет не убивал и вдруг — здравствуйте! — повесил.

С ворохом таких мыслей в голове я открываю калитку во двор Буйницких. Слева, перед окнами, маленький цветничок, справа аккуратненький огородик, зелень, кусты крыжовника и смородины, прошлогодний урожай ее я пробовал вчера у ксендза. Хозяева дома, я знакомлюсь с паней Анелей, как называет ее ксендз, высокой, под стать мужу, но засушенной горем женщиной; сердобольное лицо Анелии Буйницкой не увязывается с моими представлениями о ее муже, хотя и он никак не похож на монстра, глаза у него сострадательные, лицо доброе, отпечатка злой решимости или опыта жестокости в чертах лица не видно, если, конечно, для встречи со мной он не использует маску. Домик небольшой, разделен фанерными

перегородками на залу, спальню и кухню. Меня приглашают в залу -- опрятную, чистенькую, но какую-то вконец нежилую.

Я говорю, что Жолтак покончил жизнь самоубийством и в связи с этим меня интересует, не встречали ли они его вечером, может быть, он говорил что-либо такое, что прольет свет на причины его трагического поступка.

Супруги отвечает, что о самоубийстве Жолтака им известно — рассказал ксендз Вериго. Более того, не поверив ксендзу, то есть поверив, конечно, но чтобы осознать, убедиться, что такое ужасное дело действительно случилось, они побежали в дом Жолтака и увидели бедного старика в петле.

Наверное, мчались как ветер, думаю я, посмотреть правдоподобие и потоптаться на случай, если привезут розыскного пса. Слушая их, я оглядываю комнату и нахожу то, что придает ей нежилой вид. Между окнами стоит этажерка с детскими игрушками и книжками, а над нею в раме собраны фотографии — одна девочка, вторая девочка, две сестрички вместе, девочки у калитки, на крылечке, на руках у мамы, на коленях у папы, и последний снимок — на кладбище.

— Я не понимаю, я не понимаю, — жалостливо приговаривает Буйницкая. — Зачем он это сделал?

— Если бы не увидел своими глазами, — говорит Буйницкий, — ни за что на свете не поверил бы. У него не было причин.

Разумеется, мысленно соглашаюсь я. К нему и мысли такие не приходили. Разумеется, не поверил бы, если бы не сделал это своими руками.

Я спрашиваю, когда Буйницкий заступил на дежурство и не имело ли оно происшествий.

— Нет, происшествий никаких не случилось, — говорит Буйницкий. (Так я и думал, полный порядок.) — В сторожку пришел к двенадцати, вот как с вами расстались. В половине первого Настя пришла — «Сельхозтехнику» караулит, через дорогу это. Она каждую ночь у нас сидит — одна боится.

— А когда ушла Настя?

— Часов, может, в пять. Светло уже было.

— Так она свою технику без присмотра оставила?

-- А кому она нужна?

-- Всю ночь в сторожке и провела?

— Да, проговорили.

— Из сторожки не выходили? — спрашиваю я в лоб.

— Нет,— говорит Буйницкий. — Чего выходить? Цех закрыт, машины под окном, тихо

было.

— Ага! Ага! — киваю я головой, совсем как фарфоровый болванчик. Если он говорит правду, то все мои построения глупость и ерунда.

— Извините, — вдруг озабоченно говорит Буйницкий. — Вот вы задаете такие вопросы, они, как бы это сказать, странные. — В глазах сакристиана появляется волнение, какой-то страх, что-то мучительное. — Создается впечатление, что вы проверяете, не мог ли я ночью быть один, и, видимо, это как-то связано со смертью Жолтака. Скажите, он правда покончил с собой?

Ну и простодушие. Кандид. Не все ли вам равно, гражданин Буйницкий?

— Да, — говорю я, — он совершил самоубийство. Но наш долг узнать причины. Может быть, кто-то его обидел, оскорбил, ранил душу. Человек расстроился, и случайное слово стало роковым. Тем более, говорят, нрав у него был невеселый.

— Тоскливый, тоскливый, — жалостливо подтверждает Буйницкая. — Деньги собирал на телевизор. Конечно, что хорошего жить одному.

— Кто мог знать, что он носит в душе, — вторит жене сакристиан.

Ничего особенного он на душе не носил, думаю я. Телевизор хотел купить, наслаждаться досугом. Ну, там какие-нибудь сожаления о прошлом, несерьезные, надо полагать. Терзаниями совести не увлекался, обстоятельства ругал, милицию. Словом, адаптировался.

В этом беседе с мужем и женой меня не покидает чувство, что сзади меня кто-то есть. Обернувшись, я замечаю над кроватью фотографию Вали Луцевич в багетной рамке. Снимок цветной и, судя по взгляду, устремленному на зрителя, и неестественным цветам, сделан специалистом местного фотосалона. Валя еще в школьной форме, то есть фото подарено давно, а богет и близкое соседство с семейными снимками наделили его неслучайной значительностью. Это усиливает мои подозрения о тайнах Буйницкого и мою жалость к его супруге, которая умерщвленной своей плотью живет в сегодняшнем дне, но душой и мыслями остается в прошлом времени, за той межой, что провела смерть двух дочек. Я расспрашиваю ее о незнакомце, которого должна была видеть в костеле. Пани Анеля отвечает, что да, видела, но не обратила внимания. Для нее, по моему суждению, заглубленной в минувшие дни, все посторонние — не более чем тени из будущего. Неинтересного ей будущего, где ей нечего делать.

Нахожу Настю.

Добродушная, пугливая Настя повторяет рассказ Буйницкого слово в слово, дав мне при этом непонятно зачем клятву никогда впредь с дежурства не уходить.

Итак, Буйницкий к смерти Жолтака не причастен, и в этом случае, значит, он не

причастен к убийству человека по фамилии Клинов.

После осознания этого факта мысли мои складываются так: Жолтак был понурый человек и Буйницкий понурый человек, оба набожные прихожане, один -- пассивный, другой — активный. Однако Жолтака, который только заглянул в костел, убили, а сакристиана, можно сказать, не выходявшего из костела, не убили. Или не успели убить? Или его не надо убивать?

Иду к ксендзу. Тот говорит, что ночью спал. На лунатика ксендз не похож, и, стало быть, по Замковой улице до дома под номером четыре лунный свет его не водил. Однако засвидетельствовать это некому, домочадцев у ксендза нет, а Серый находился в отгуле. Возможно, ксендз лежал под одеялом, а возможно, надев шляпу, взамен сутаны пиджак, натянул перчатки, ходил в поход. На компанию гуляк не наткнулся, случайный прохожий его не распознал — и он представляет условное алиби о кошмарных сновидениях. Оно записано латынью в журнал, записано недавно, так сказать, по свежим следам, как бы в предчувствии моего прихода.

«После непотребной оргии, устроенной паном Луцевичем, после дикого пения песен, которое теперь может быть приписано мне, я долго не мог уснуть. Омерзительное опьянение двух пожилых людей, двух служителей искусства, как они хвастливо себя называли, вызвало у меня приступ мигрени, и я лежал в темноте, наглотавшись анальгина, стараясь успокоить боль и мысли. Неосторожно выпитая рюмка настойки превратила ночь в сущий кошмар. Сны были наполнены ужасами, я просыпался в холодном поту с криком на устах. Только с рассветом, когда лучи восходящего солнца рассеяли в спальне мрак, ко мне пришел мирный сон. Я проснулся в девятом часу в прескверном состоянии, разбитый, словно ночью на мне молотили горох. Сердце болело, душу угнетали мысли о вчерашнем убийстве, о глупости пьянства, о мерзких сплетнях, возникающих неминуемо по вине пана Луцевича, который напился до такой степени, что более не мог пить и позволил допивать вино художнику, принявшему вскоре такой же отвратительный облик. Мне стало скорбно, что я дожил до такого дня. Заставив себя встать, я принял валидол, а затем сварил душистый чай и несколько успокоился. Со всей очевидностью передо мной предстала непричастность к убийству людей костела. Зло пришло извне, его принес посторонний человек, которого привел случай. А зло всегда стремится своим черным крылом задеть многих людей, омрачить их радости, умножить их страдания. Бросает работу художник, необходимо заказывать столяру новую исповедальную, а красивую древнюю придется сломать на дрова, ибо не будут спокойны сердца людей, преклоняющих возле нее колени, не будут чисты слова их исповеди, даже простодушной исповеди пани Ивашкевич, даже неизменной, как молитва, исповеди Жолтака.

Вспомнив о нем, я вспомнил, что Жолтак вчера хотел ем-то поделиться со мной, но присутствие следователя его стеснило. Я отчетливо вспомнил, что не запер на ключ дверь сакристии, как вследствие испуга сказал следователю, и понял, что Жолтак приходил действительно ради встречи со мной. Я почувствовал, что не смогу спокойно ожидать, пока он явится сам, что я изведусь нетерпением. Согревая себя надеждой, что сообщение его будет благоприятным, я отправился к Жолтаку.

Как и обычно, мое появление на улице вызвало удивление и пристальные взгляды прохожих, видящих во мне карнавальную фигуру. Я привык к таким взглядам, но все равно они мне неприятны, так как в них сквозит беспричинное предубеждение.

Двор Жолтака. Я не был здесь уже восемнадцать лет. Я испытал горькое чувство, будто тем давлишим, моим приходом сюда и приходом нынешним пролегло одно мгновение, в которые уместились все эти года жизни. Ни дом, ни дом Жолтака не претерпели изменений, только мы — люди — изменились. Тогда я был обуян яростью, а сейчас меня привело обычное любопытство. Я вошел в сени, вытер ноги о половичок и, приподняв щеколду, отворил дверь в комнату. «Пан Жолтак», -- сказал я, чтобы обратить на себя его внимание, переступил порог и оцепенел от открывшегося мне ужасного зрелища. Жолтак окончил земное существование в петле.

И сейчас, по прошествии нескольких часов, записывая последовательность своих поступков, меня не оставляет ощущение невероятности случившегося, этой неожиданной и необъяснимой смерти, которая останется для меня щемящей сердце трагической тайной. Если его смерть вызвана прозрением неудавшейся жизни, то в этом есть и моя вина, ибо я не заметил этого прозрения и не протянул ему руку участия в минуту невзгод».

— Выходит, Адам Михайлович, вы в последнее время не замечали у Жолтака перемен настроения, отчаяния, ну и других признаков зреющего решения.

— Может быть, виною этому привычка, — говорит ксендз. — Привыкаешь видеть человека таким, боязливым, осторожным, глупым, и не думаешь, что он изменяется.

— Да, — соглашались я, — штампы мышления. Стереотип. А может быть, его подтолкнуло вчерашнее убийство? Такие примеры, знаете, заразительные для больной психики.

— Я бы не решился сказать, — говорит ксендз, — что у него была больная психика. Угнетенная, да, но только и всего. Хотя кто знает, кто знает... Чужая душа — потемки.

Что потемки — правда. Вот, скажем, его новелла — что это? Простодушное заблуждение или психологическое действие, — навязывание штампа? Самоубийство! Почему бы и нет? Доказательства убийства оспоримы, очень даже нетвердые доказательства. Нет следов на табуретке — ну и что? Может, он ее ногой придвинул. На шее след?... Возможно, два

раза был в петле, в первый раз узел на крюке развязался. И так бывает. Остальное — домыслы следствия, сугубо мои мысленные построения событий убийства, если, конечно, оно имело место.

Итак, если убийство имело место, то оно происходило следующим образом. В третьем часу ночи убийца поучал в двери или в окно к Жолтаку. Вернее всего, в окно, шума меньше. Жолтак проснулся, подошел к окну и спросил: «Кто там?» или «В чем дело?» — и приткнулся к стеклу посмотреть. Примерно так он обошелся с Локтевым. Убийца ответил нечто серьезное, поскольку Жолтак впустил его в дом. Жолтак надел брюки, присел на кровать и потянулся за сапогами. В этот момент убийца накинул ему на шею петлю. Ну, и так далее. А раз его впустили посреди ночи — это был знакомый, даже очень хорошо знакомый Жолтаку человек. И погиб Жолтак только из-за того, что вчера увидел в костеле нечто такое, что не должен был увидеть. Именно в ту минуту, когда зашел в костел помолиться. А что он видел? Видел убийцу, хотя сам этого не знал или не знал, пока не стал думать, подозревать, о чем, наверное, и хотел сказать ксендзу. Но ксендз слушать его отказался. В силу усталости и потрясения. Так что мои вечерние встречи в костеле с ксендзом и Жолтаком следует считать поражением.

Проследим эту линию до конца.

Меня нет в костеле (или я на хорах), столкновения с ксендзом не происходит. Он заглядывает в исповедальню — пусто, тоскует о зле человеческом, об осквернении храма и так далее. Приходит Жолтак... «Что тебе, Жолтак?» — «Пан ксендз, вы можете думать, что это я убил человека. Именем господы клянусь, что это не я... Жолтак в тюрьме сидел, о нем всякое могут говорить...» — «Верю тебе, сын мой, но кто!...» — «Не знаю, пан ксендз, но когда утром я заглянул сюда помолиться, я видел, что с убитым разговаривал...» Кто? (Буйницкий, или Белов, или органист, или Некто в сапогах.) Кого убили, Жолтаку неизвестно. Сказала соседка, он был в толпе, встретил кого-то из свидетелей, кто разговаривал с убитым?... — «Ну и что?» — спрашивает ксендз... «Он подтвердит, что я был в костеле минуту...» Положим... Значит, знакомый ксендзу... Не сказал Саше... Надо было на мушку брать... Не утешение (кто знал? кто знал?)... И главное: убит ночью, после Саши... Буйницкий дежурил. Органист пьян. Художник пьян. Ксендз спит. Белов рыбачил (рыбак!)

День (продолжение)

Музей как музей, таких много — бывший особняк, семь комнат анфиладой, кабинет директора в конце. Это даже не кабинет, а чуланчик два на три метра, бывшая холодная, где варенья держали. И тесно здесь, как бывает в чуланчиках; стол, два стула, сейф, на стенах

полочки, на полочках книги, пакеты, посуда, чучела птиц, рога, вымпелы за победу в смотре, три штуки. Над Беловым висит диаграмма, стрела, устремленная вверх,— количество посетителей по годам. Посетителей с годами больше, а музей все тот же. В костеле наоборот. Не зря он, думаю я, на костел зуб точит.

— Здравствуйте, — говорю я. — Следователь Иксанов.

— Слушаю, слушаю... — Белов поднимается. Роста он среднего, лицо типично курское, волосы рыжеватые, руки в запястьях толстые — физически крепок. Из долгожителей. Что-то он писал до моего прихода, и пока мы здороваемся за руку, мои глаза автоматически --и для Белова, я уверен,— незаметно исследуют лист. Докладную пишет с просьбой о введении дополнительно штатной должности экскурсовода. Энтузиаст.

— Как наш музей? — спрашивает Белов.

-- Интересно. Правда, тесновато.

-- Да, теснимся, — огорчается Белов. — Большая часть экспонатов в подвале. И какие...

«...Таких мир -не видал, — мысленно добавляю я, — а самыми лучшими костел украшен». Это мы знаем...

— Павел Кондратьевич, вероятно, о случившемся в костеле убийстве вам уже известно?

— Известно, — соглашается Белов. — О нем весь город говорит. Такого у нас уже лет двадцать не случалось.

— В связи с этим я хочу задать несколько вопросов.

— Пожалуйста. Буду рад помочь.

— Не помните, Павел Кондратьевич, сколько было времени, когда вы пошли в костел?

— Помню. Четверть двенадцатого.

— Какую цель имел ваш визит?

— Видите ли, — говорит Белов, — я занимаюсь краеведением, в частности народным творчеством. Меня давно занимал костельный амвон, он древний, если вы — обратили внимание, резной, чудесной работы, это восемнадцатый век, драгоценность, выполнил народный художник, то есть не поймите что это он между делом, нет, просто учебных заведений тогда не было, школы; профессионал, сразу видно, талант самобытнейший. Для меня тут загадка такая — датировку увидеть; я подозреваю, что возможно назвать автора. Но в костел я попал мимоходом. Мне надо было в половине двенадцатого в райисполком, так что я так, по дороге, заскочил, поверху глянуть. К тому же, по правде сказать, мне без ксендза не хотелось детально смотреть, он, верно, обиделся бы, да и помочь бы мог, он разбирается, но вот получилось, я в костел — он из костела...

— Значит, вы были в костеле минут...

— Десять, — отвечает Белов. — Ровно десять.

— Кого вы заметили в костеле?

— Поначалу ксендза, я говорил. Еще Стась был, органист играл, художник — ксендз нанял и правильно сделал, худеют росписи, — ну и незнакомый мне человек, то ходил, то сидел... Да, да, вот этот. Значит, это его убили. Ужасно! Ужасно!

— Было время, вы работали вместе с Буйницким?

— Стась? Я знаю его с сорок второго года, партизанили вместе, у меня в роте пулеметчиком был. Потом вместе в школу пришли. Он славный человек, мягкий. Вы, верно, уже знаете, у них ведь дети умерли. Вот... Что они пережили, не дай бог никому. Анеля год на могилке пролежала пластом.

— Его что — уволили из школы?

— Нет. Как пришел из больницы — в больнице ему нервы лечили, — заявление написал, так-то и так-то, верю в существование души и преподавать детям права не имею. Он честный.

Честный-то честный, думаю я и спрашиваю, не отмечалась ли за Буйницким в годы его школьной работы неустойчивость в отношении прекрасного пола?

— Что вы, что вы! — машет руками и улыбается Белов. — Какие женщины. Господь с вами! Пуританин!

Я не спорю, пусть улыбается; кто ближе стоит, тот меньше видит. Я так думаю: болезнь, а потом дурь религиозная — следствие неразрешимой драмы; потому и помешался, что свои дети, от законной жены, умерли, а случайное дитя, плод греха, живо, выросло, досталось органисту. Хоть за локоть себя укуси. Кому признаться? Жене? Она скажет: это наказание за блуд, ты их убил. Тоскливая ситуация, надо признать. Проверим, думаю я, попробуем.

— Мне кажется, вам еще не известно, — говорю я, — что ночью наложил на себя руки Жолтак.

— Что?! — Белов откидывается на спинку стула, словно я хватил его подсвечником и произносит сакраментальное: — Не может быть!

— Почему? — спрашиваю я.

— Если бы вы сказали, что ксендз Вериго — пусть сто лет живет — покончил с собой или Буйницкий, да кто угодно, я бы не удивился... не удивился бы так. Но Жолтак! Вот уж, действительно, неисповедимы пути господни. И зачем? Почему?

Я пожимаю плечами.

— В голове не укладывается. Ведь боязливее из последних. Его слава хулигана — блеф! Заяц во хмелю! Тюрьма, нож — случайность, ей-богу, стечение обстоятельств.

Переборщили, в компанию попал, могли условно дать. Тихий он, глупый. Только и хватало ума мать изводить. Его, вам, наверное, говорили, однажды ксендз Вериго исколотил — матушка пожаловалась. Ксендз мне сам рассказывал. Пришел к Жолтаку и так двинул в ухо, что тот к стенке прилип. Вериго раньше здоровый был.

— А что он во время войны делал, ксендз?

-- Жил тут на хуторе неподалеку, в Курнешах. Немцы костел закрыли. Помогал там хозяину.

-- А Жолтак?

-- Сидел здесь как мышь под веником. Несчастно жил — несчастно умер, — говорит Белов.

— Мой помощник искал вас вечером. Вы рыбачить ходили?

— Да, посидел немного.

— С моряком этим, Фадеем Петровичем?

— Какой он моряк, — улыбается Белов. — Моря в глаза не видал. Плотник он. Пилой ранило на лесопилке. Директор дома отдыха ему родственник — пристроил. А тельняшка, фуражка — презенты рыболовов; в рыбалке он спец, мастер, знает ямы, прикармливает. Насчет моря это у него сдвиг, — опять улыбается Белов. — Он уже не помнит, был ли плотником, рассказывает, что на сейнере служил. Если его капитаном называют — млеет. Да. Но я не с ним был, один.

— Так вы думаете, ксендз — честный человек?

— Совершенно!

— И не глупый, наверно? Почему же он костел не оставит?

— Это совсем идейное дело, — говорит Белов. — Воспитание, привычки, думает, что пользу приносит. Я с ним беседовал, он мне так ответил: значит, Павел Кондратьевич, я должен взойти на амвон и сказать: все, что я делал всю жизнь, — нелепо; все, что я говорил, — глупо; люди, придется мне сказать, я жил за ваши деньги преступно, а сейчас я прозрел — разойдемся с миром. Вот так. Вы же знаете, честь жизни дороже.

Не для всех, думаю я, не для всех. Для многих совсем наоборот. Что Клинов за человек? Ксендз честный... Буйницкий честный и мягкий... Органист?.. Не мог же он, как петух этот пушкинский, с хоров слететь, Клинова клюнуть и обратно улететь? Это за минуту-то одну?.. Позвонить надо в Гродно... Жолтака я сам проморгал, дурак... Буйницкий мягкий... Ксендза мог выгораживать... Белова тоже (вот именно!)...

— Вы сказали, к половине двенадцатого в райисполком спешили. На совещание?

— Нет, — говорит Белов и подозрительно и строго глядит на меня: мол, плохо себя ведете, не доверяете мне. — Заместителю я был нужен, по культуре. По вызову.

— Попали?

— Попал, — отвечает Белов, — но не сразу. Ожидал в приемной — И спрашивает этак холодно: — Подозреваете?

— Павел Кондратьевич, — усмехаюсь я, — вот вы командиром роты были, уважаемый человек. Вас подозревать нелепо. И ксендза нельзя. И Буйницкого негоже. Органиста, выходит, одного, потому что пьет...

— И его не стоит, — говорит Белов.

— Ну вот, и его... Так кого же? Костельное привидение? Серого?

— А, видели Серого? — смягчается Белов.

— Видал, как же, в деле причем. Так что я сейчас никого не подозреваю. Это просто сбор фактов. Кто-то голову снял, свою должен положить. А сам не принесет. Ведь так? Тут каждая минута имеет значение. Ушли вы из костела в тридцать или в тридцать пять минут -- огромная разница.

— Я в тридцать ушел, — говорит Белов. — Абсолютно точно.

— А к зампреду в кабинет вошли...

— ...в начале первого, — отвечает Белов. — Секретарь может подтвердить.

Что подтвердить, думаю я. Что ждали в приемной? В этом не сомневаюсь. Сколько ждали? Клинов мне нужен, Клинов (позвонить)...

-- Вы, из костела выходя, Вальку Луцевич не встретили?

-- Нет, не видал.

-- А мама ее, что, развелась с органистом оттого, что он пил?

-- Думаю, наоборот, он запил после развода. Дамочка была веселая, умахала с каким-то военным.

Ага, веселая была, согреваюсь я. Ребенка вот подложила органисту -- и ку-ку.

Иду на маслозавод.

В отделе кадров прущу личное. дело Буйницкого и внимательно прочитываю все документы. К сожалению, их мало.

Заявление от 25 августа 1955 года с просьбой принять на работу ст»можем... Автобиография: белорус, рождение — 1918... Кобрин, в семье адвоката... гимназия (неинтересно) ... университет (знаю) ... учитель... партизан... в 1944 направлен в школу (известно). Жена — Анелия Игнатьевна — медсестра... дети: Вера семи лет, Ирина пяти лет скончались в январе сего года... Приказ о зачислении с окладом 425 рублей... Приказ об отпуске... и еще... и еще... приказ об установлении оклада 60 рублей... о премировании ко Дню Победы 20 рублями...

Все. Не густо, думаю я. Надо позвонить в Кобрин.

Иду к дочери органиста.

Маленькие городки мне нравятся с одной и единственной стороны — тут все под рукой. Вышел с завода, прошел триста метров — и стоит костел, налево улица Замковая, где обитал несчастный Жолтак; сто шагов вдоль костельной ограды, за которой живет ксендз, и начинается улица Садовая, в отличие от московских Садовых соответствующая своему названию. Что двор, то сад — вишни, яблони, сливы; вишни уже созревают.

На этой улице живут органист и его (или не его) дочь.

Принадлежащие им деревья плодоносят не столь щедро, как у соседей, но так и должно быть, поскольку соседи, полагаю я, не служат музам — свободного времени у них больше. В открытое окно выплывает грустная мелодия. Ну да, думаю я, не зря говорят, что похмельному хуже, чем побитому. То-то, наверное, мутит, тоска в голове. Однако я ошибаюсь (в который раз за последние сутки) — играет Валя.

Я стою на пороге комнаты, где находится инструмент, и стучу костяшками пальцев о косяк.

-- Не надо стучать, — говорит девушка. -- Я вас вижу.

— Где папа? — спрашиваю я.

-- Ушел. В кафе или в «Привет», куда-то туда...

— Лечиться?

— Лечиться, — повторяет она. — Да.

— Он вчера малость перебрал, — сочувственно говорю я.

— Малость! Ничего себе малость! — Она поворачивается на винтовом табурете. —

Соседи прибежали.

— Ага! — догадываюсь я. — Пел?

Очень похожа, думаю я. Одна матрица. И глаза такие же...

— Нет, слушал пластинки. Вы присаживайтесь, не надо стоять. Во-первых, его притащил домой этот, как там его, художник. Тоже глаза разбегались. У папы ведь мания, — говорит она с пренебрежением, — лучший органист Европы. Включил радиолу, это в первом часу, на полный звук. Потом сказал, что потребует концерт в Домском соборе, лег на кровать и захрапел.

...Подбородки одинаковые, несомненно. Характер, скорее, его — органиста...

— Так вы всю ночь не спали, и эти грустные звуки -- плод бессонницы?

— Ну, не хватало. Выключила радиолу и легла спать.

— И правильно сделали, — говорю я. — Но я, Валя, пришел по другому делу. Мне важно уточнить, сколько было времени, когда вы вчера вошли в костел? Вы вместе с Ивашкевич вошли?

- Я вышла из дому в половине двенадцатого. Ну, сколько тут идти, несколько минут.
- Значит, с Ивашкевич?
- Да, с Ивашкевич.
- Почему вы уверены, что вышли в половине?
- У меня распорядок, — отвечает Валя, — и я придерживаюсь.
- Похвальное качество.

На столе лежит книга в зеленом переплете — «И. Глазунов. Сочинения». Я ее открываю. На титульном листе затейливым старательным почерком написано: «Вале с пожеланиями успехов! Тетя Анеля, дядя Стась».

«Папа Стась», -- думаю я.

-- А вот дядя Адам говорит, что вы пришли в костел около двенадцати.

-- Он ошибается, -- говорит Валя и прозревает: -- Вы думаете, я вас обманываю?

-- Нисколько. Но вам все равно, когда вы пришли, а мне нет.

-- Скорее в половине. И дядя Стась так считает.

«Папа Стась», — опять думаю я.

— Я вижу, о вас заботятся Буйницкие.

— Да, любят мне книги дарить. Вон, целая полка. Я их люблю, они добрые...

Все добрые, думаю я. Был один маленький злодей, так и того удавили.

Поэтому я возвращаюсь в райотдел, чтобы сделать необходимые телефонные запросы.

Вечер

Локтев молодец. Так я ему и говорю: Саша, ты молодец! Езжай в Гродно. К Клиновым.

Он просиял — самостоятельная работа! — и унесся на автобусную станцию.

Локтем молодец, потому, что проявил инициативу, предугадал мои желания. Пока я обходил свидетелей, он дозвонился до ремонтного завода и получил у инспектора по кадрам основные сведения о Клинове. Образ Клинова прояснился, но дело, увы, наоборот, затуманилось еще больше. Стенограмма такова:

Клинов — механик механцеха... русский... год рожд.— 22, участник войны: сентябрь 41 — август 44... госпиталь — 6 месяцев... награды: «За оборону Сталинграда», Красная Звезда, «За отвагу»... Гроднен. пожара. часть — 45... ремонт. з-д — 50... механик — 56... образование — политехникум, заочно — 55... благодарности — 18... ведущий рационализ... премия-путевка в д/о «Дубрава»... премия — 40 р. за «Славу»... премия — 30 р. к празд. Победы... приказ 232/л (наконец то) со вторника командирован в Минск на механ. з-д. обмен опытом рацработ, четыре дня... женат-48... Вера Васильевна... дети.: Аня — 19, Андрей 14

И этот человек физически уничтожен. За что?

И в Минск Саша позвонил. Действительно молодец. Справку дал инженер по рационализации. Клинов из Гродно прибыл на завод во вторник утром. Командировка отмечена, во вторник на заводе был, в среду по телефону сообщил, что нездоров. Больше не появлялся. Где остановился, неизвестно.

Ну, это-то известно, думаю я, остановили его навсегда. Уничтожили физически... и Жолтака... Отпетый, однако, убийца...

Звоню в Кобрин оперативникам, чтобы срочно собрали сведения о родившемся там и проживавшем до войны Буйницком Станиславе Антоновиче.

Звоню уполномоченному по делам религии, после длительных объяснений получаю биографическую справку о Луцевиче.

«Луцевич Григорий Петрович, родился 10 мая 1916 года на хуторе Засветы Сопоцкинского района Гродненской области, белорус, учился в Друскенинкойской школе, с 1936 по 1938 годы органист Каунасской духовной семинарии, в 1938 году призван в польскую армию, музыкант военного оркестра, с 1939 по 1941 год органист костела в Заблудове, с 1941 года -- партизан отряда «Буря» Армии Краёвой. В 1944 году вступил в Войско Польское, солдат. Демобилизован в июне 1946 года. Родители убиты террористами в 1946 году. С октября 1946 года органист. Содержание от общины получает, женат, дочь Валя».

— Спасибо! — говорю я. — И если вас не затруднит, то заодно я хотел бы получить справку о ксендзе Вериге.

Уполномоченный недоволен, верно, тем, что приходится еще раз из-за стола вставать, но мою просьбу выполняет.

«Вериге Адам Михайлович, белорус, родился 2 октября 1906 года в г. Ляховичи Барановичской области, холост, образование высшее, подданный СССР, учился в Пинской гимназии, в Пинской духовной семинарии с 1923 по 1925, в Туринском университете — факультет философский, два курса, факультет богословия с 1927 по 1932 год. Рукоположен в сан в 1933 году в Вильнюсе архиепископом Буртысом. Пребывание за границей: Италия, Турин — учеба в университете 1925--1932 годы, Польша — погребение брата — февраль 1961 года. Община римско-католическая, ксендз костела, по договору с общиной имеет ежемесячное содержание семьдесят пять рублей. Ни в одной армии никогда не служил».

Ну вот, телефонная программа выполнена. Может, передохнуть, думаю я. Через два часа приступит к делу Локтев, через три часа позвонят из Кобрина. Перерыв, думаю я, устроим перерыв.

Звоню начальнику уголовного розыска.

Звоню следователю Фролову.

Они, в свою очередь, сообщают следующим начальникам, что дело стоит на мертвой точке.

Пусть постоит, думаю я. Убийца не волк, в лес не удерет. Иду в гостиницу и ложусь спать.

Просыпаюсь — вечер. Небо уже не голубое, еще не синее, солнце уже на закате, но еще не закатилось, оно, написал бы ксендз Вериги, посылает миру прощальные лучи,— светлые сумерки, любимое мое рабочее время.

Иду в райотдел. Как я и предполагал, меня ждет телефонограмма.

«Буйницкий Станислав Антонович, белорус, 1918 года рождения, учился в польской гимназии, в Вильнюсском университете. После 17 сентября учитель народной школы. Во время войны участник партизанского движения (данные не подтверждены). После войны в городе не проживал.

Прямые родственники:

Отец, Буйницкий Антон Эдуардович, рождения 1886 года, адвокат, расстрелян немцами в 1943 году за связь с Армией Краёвой.

Мать, Буйницкая Виктория Павловна, рождения 1889 года, умерла в 1945 году.

Сестра, Буйницкая Виктория Антоновна, 1910 года рождения, погибла в войну.

Брат, Буйницкий Валерий Антонович, рождения 1914 года, погиб в войну.

Сестра, Ирина Антоновна, в замужестве Климович, 1921 года рождения, выехала из города в 1951 году, местожительство не известно.

Другие родственники:

Двоюродный брат, Буйницкий Сергей Ольгердович, 1920 года рождения, бухгалтер хлебозавода, проживает: Кобрин, ул. Колхозная, 52».

Прочитав, испытываю разочарование — халтура. Сляпал за десять минут, лентяя кусок (исполнитель), думаю я, поболтал с двоюродным братом — и отцепитесь. Безответственность! Хоть сам туда поезжай.

— Если мне позвонят из Гродно, — говорю я дежурному, — разыщите меня. Я могу быть в гостинице, в ресторане, у ксендза, у Буйницкого... — Я задумываюсь, где еще? — В крайнем случае, разговор зафиксируйте.

На улице душно, небо темнеет — будет дождь. Мою работу дождь не остановит, пусть льет себе на здоровье. Духоты я не боюсь, я холода боюсь, с тех пор как однажды очень крепко промерз; душно — не зябко, думаю я. На площади гуляет народ — предвыходной вечер; и я втесываюсь в толпу и обхожу площадь по кругу, слушая обрывки бесед, одуряющую разноголосицу транзисторов, а потом не слыша их, а слыша звуки грустного вальса, и даже не грустного, а сентиментального, мечтательного, погружающего в грезы.

Это Штрауса вальс, а может быть, и не Штрауса, а «Березка» или не «Березка», а «На сопках Маньчжурии»; его играют бравые музыканты — ни одного из них уже давно нет среди живых. Это полковой оркестр какого-нибудь там драгунского или гвардейского егерского полка, расквартированного в Слониме; вечером в городском парке он играет старинный вальс, или в то время еще не старинный, и не только вальс, а еще и марши — «Славу», «Битву под Плевной», «Славянку», но сейчас он играет вальс. Капельмейстер размахивает палочкой перед усатыми трубачами. Народ гуляет по аллеям, почти так же, как народ гуляет здесь, спустя шестьдесят лет, только он в иных одеждах и о транзисторах не смеет подозревать; и среди толпы папа и мама Буйницкие, счастливые молодые люди, а может, они еще не папа и мама, а жених и невеста или даже они еще не решаются говорить о любви. Этот вечер кажется им чудесным, прекрасным, и им кажется, что потом, когда они состарятся — когда это будет! — они будут вспоминать блеск и звуки серебряных труб, солдат-музыкантов, аксельбанты капельмейстера, тишину вечернего неба, слушающего биение их сердец. И возможно, они вспоминали его... А потом немцы пришли раз, а потом пришли снова — новый порядок — и папу в ров и так далее. Так оно все и идет нелепым чередом на этом свете, думаю я. И еще думаю, что узнать местожительство сестры Буйницкого весьма просто — достаточно спросить самого сакристиана. Они должны переписаться или хотя бы обмениваться открытками в принятые для этого дни. «Помнишь, брат, как ты с Валерой воровал у мамы варенье; так же ведут твои племянники (или племянницы); хочу тебя увидеть, но вот здоровье, дела, летом постараюсь приехать». И так далее. Адрес я возьму, но пока нужды в этот нет.

Что там ксендз делает, думаю я, небось пишет свою летопись, которую никто никогда не прочтет? Или с Серым воюет? Что он вообще делал всю свою жизнь? Целибат, думаю я. Победил ли бесов?.. Нет, не к нему приехал Клинов... Странное, однако, у него влечение к костелу... Изобретать здесь нечего... Служебные обязанности (пренебрег)... Крюк в двести километров в рабочее время... Это не довод — многие делают... Кто без греха?.. Кто? Вот именно... Убийство-крайняя мера самозащиты. Превентивное убийство, думаю я.

Чик! — зажглись фонари. Иду в ресторан, ужинаю и поднимаюсь в номер. Душно, даже курить неможется. Дождика бы, думаю я. Снимаю туфли и рубаху — все равно душно, — и брюки. Стираю под краном носки. Думаю: костельный актив не изменился, эти (Вериго, Буйницкий, Луцевич, Жолтак) функционировали так же, как и вчера. И Белов был директором. Но три года назад Клинова не убили. Было иначе что?

Вешаю носки на спинку стула и застываю возле, как часовой. Это со мной случается — каталептический транс; физическое бесчувствие — могут колоть иголкой и не услышу.

Было иначе что? — думаю я. Не работал художник, не было газетной информации, Клинов отдыхал по профпутевке (официально)... Тридцать пять минут провел в костеле... даже

больше... Кого он ждал? Не этих (Буйницкий, ксендз, Луцевич, Жолтак, Петров)... к ним мог подойти раньше... Говорят, не подходил. Белов пришел — ушел... Когда? (неизвестно) ... Передовик, рационализатор... Вряд ли (преступная группа)... Непохоже. Сидят сиднем... только Буйницкий выезжал два раза в Минск... благопристойные... подозрений не вызывали... Подсвечник вытер Буйницкий несомненно... Случайно? Положим, он...

Слышу звуки: тик-тик-тик, потом: так-так-так, тук-тук-тук и — сплошной шум. Начинается дождь. В окно повеяло свежестью. Хорошо думаю я. И ксендз, наверное, смотрит в окно, думаю я. И все все... Красиво... И тот, в сапогах... Не он убийца... исключить, ни при чем... Да, ни при чем, говорю я себе. Если он незнаком Жолтаку, то Жолтак не впустил бы его в дом. Раз. Если он незнаком Жолтаку, то ему не потребовался бы риск второго убийства. Два. Если он знаком Жолтаку, его знал бы и Буйницкий. Три. Не он... Глупость, думаю я... Привидение (убило Клинова) ... Не ксендз (отсутствовал)... не Петров (отсутствовал)... не Луцевич (присутствовал Буйницкий)... Не Буйницкий (не он убил Жолтака) ... Белов?!

Вспыхнула молния (и где-то близко), озарила комнату, и я заметил метнувшуюся на стену мою тень и увидел себя нелепо застывшим возле стула. Гром страшно раскололся над городом и покатился вдаль. Подхожу к окну и гляжу на завесу ливня, на круговороты пылящейся воды. А молния, кривая, красная, опять шарх — и все пошло искрами, блеском, пламенем — капли, тугие, косые струи, бурлящие лужи, крыши и деревья. И следом вновь гром — грам! — бам! — бам! — бам! Расстрел, думаю я, расстрел его ждет, сволочь. Он знает... что улики нет, знает, думаю я. Улик нет — к делу непричастен... косвенные не пришьешь... и косвенных нет... припереть нечем... трудно взять. Да, думаю я, трудно взять. Жестокою надо хитрость... он агрессивный, инстинкт убийства развит, на третье пойдет... пойдет... пойдет... Кого ему подставить?— думаю я... Себя? Сашу? (Не звонит; чего он не звонит?) ... Буйницкого — Буйницкому?.. Органиста — органисту?.. Ксендза — ксендзу?.. И так далее..

«Не везет!» — шепчу я и чувствую себя лисой, вздыхающей на виноград.

День

В одиннадцать часов с машиной, прибывшей за Клиновым, приезжает Локтев. Во дворе райотдела под старой развесистой березой находится курилка — две скамейки и между ними врытая в землю бочка. Судя по чистоте — все травинки выщипаны, бочка блестит, словно начищена щеткой,— здесь проходят перевоспитание трудом задержанные Максимова. В этом стерильном уголке, огражденном от любопытных ушей, мы садимся, закуриваем, и Саша начинает свой рассказ с того момента, как он постучал квартиры Клиновых. Открыла Вера

Васильевна. Локтев сообщил, что ее мужа нет в живых. Она упала в обморок, дети в плач. Он вызвал «скорую помощь». Телефон дома есть. Вообще, живу в достатке: три комнаты гарнитуры, пара ковров, хорошее стекло — не бедные, нет. Вызвал друзей и сослуживцев, вернее, дети обзвонили. Прибыли друзья дома. Никто Локтеву не верит. Не верят, что Клинов не в Минске, не верят, что в костеле. То есть верят, но в глубоком недоумении, в голове у них это не укладывается. Прибывают с его работы — начальник цеха (личный друг Клинова), председатель завкома, председатель цехкома, заместитель директора. И эти в недоумении. Начал поочередно беседы с пришедшими. В это время начальство распорядилось о создании комиссии, об оказании помощи, о грузовой машине на утро, о фотопортрете и так далее. Разговаривал с начальником цеха (друг убитого), с пожарным капитаном (старый друг убитого: в сорок пятом вместе пришли в пожарную часть рядовыми), с председателем завкома, с соседом по площадке (приятель по рыбалке), с родной сестрой вдовы, с самой вдовой (это уже ночью); посмотрел семейные фотоальбомы, имеющиеся в наличии документы (орденские книжки, грамоты, удостоверения); в качестве вещественных доказательств взял две телеграммы и снимок здешнего костела (любительский, на обороте надпись карандашом: 1968). Жена работает старшим продавцом в гастрономе, дочь учится в пединституте, стипендию получает.

Теперь последовательность событий, связанных с отъездом Клинова. В воскресенье из Питера в десять часов утра была отправлена телеграмма следующего содержания: «Алеша Встречай четверг поезд 112 первый вагон Целую твой боевой друг Саша Данилов». Она поступила в Гродно в четырнадцать часов, а в шестнадцать была вручена Вере Васильевне. В семь часов вечера ее прочитал Клинов (в семь вернулся с рыбалки).

Назавтра, то есть в понедельник, Клинов, придя на завод, просит срочно командировать его в Минск, объясняя цель поездки необходимейшими личными делами. Так он говорит начальнику цеха (личный друг). Клинов — старый работник, на отличном счету; ему надо — значит, надо; издается приказ — командировать со вторника. Вечером этого же дня он говорит жене, что его неожиданно направляют в командировку.

«А как же твой Данилова» — спрашивает Вера Васильевна, на что Клинов отвечает: «Значит, не судьба, — и добавляет: — Притом, Верочка, это было так давно... Не люблю я эти встречи. Ты и представить себе не можешь, как я ненавижу войну, век бы ее не вспоминал. Взрослые мужчины целуются, плачут, словно нет других дел. Нет, это нехорошо». И в понедельник же вечером уехал в Минск. Дальнейшее известно. Перед отъездом пообещал жене, что в пятницу позвонит.

В четверг из Питера в четырнадцать часов была отправлена вторая телеграмма, текст ее таков: «Алеша приехать не могу жди письмо твой Данилов». Она поступила в Гродно в

семнадцать часов, а Клиновым доставлена в девятнадцать. Ночью Локтев связался с ленинградским почтовым отделением, отправляющим телеграммы, получил домашний телефон Данилова и позвонил ему. Женщина (мать Данилова) объяснила, что Данилов (Александр Сергеевич) вчера вместе с женой улетел в Крым. Да, в Гродно собирался, к фронтовому товарищу, но побоялась потерять несколько дней отпуска. Данилов — инженер, работает на электротехническом заводе.

Теперь мнения о Клинове. Работник отличный, лучший рационализатор, трудился безупречно, зарабатывал хорошо — оклад сто восемьдесят плюс ежемесячно премиальные, плюс выплаты за рацпредложения; любимое дело на досуге — рыбалка; не пьянствовал; жене не изменял. Очень любил детей, вообще образцовый семьянин. Еще одно достоинство — идеальная выдержка, горлом никогда не брал. И еще одно -- образцово скромный: карьеру не делал, хотя были возможности, из ряда не высывался, на общее внимание не претендовал. Более того, получив «Славу» и соответственно приглашения участвовать в патриотическом воспитании молодежи рассказами о войне, а также пройдя через перекрестные допросы журналистов, стал дерганым, нервным, словом, дремавшие многие годы следы контузии пробудились.

Жил на виду, знакомств, помимо перечисленных, не имел, левого заработка не искал, наказуемой деятельностью, по единому мнению, заниматься не мог. Живых родственников не было, и в переписке ни с кем не состоял. На рыбалке обычно ездил с соседом, так что возможность использования этого времени в иных целях исключается.

-- Недостатки?

-- Не было у него недостатков, -- отвечает Локтев. -- Не имел. Глубоко порядочный человек. Так все говорят.

-- Если он глубоко порядочный, -- говорю я, -- так зачем он совсем непорядочно уехал из Гродно, получив телеграмму. Чтобы с Даниловым не увидеться?

— Получается так.

— Он что, денег пожалел на встречу?

— Никто не сказал, что он жадный.

— Он мог не прийти на вокзал.

— Данилов мог приехать домой.

— Ну и что? Явился бы?

— Не знаю, По-моему, ничего. Выпили бы, поговорили.

— Вот именно. И разошлись. Ну хорошо, в Минск, могу понять. Но почему сюда?

— В глушь, — говорит Саша.

— Никому не сказав?

— Да, никому.

— А в пятницу позвонил бы жене и спросил: «Данилов приезжал?»

— Нет!

-- И он возвращается домой. Понятно. И рыбачит с лодочником — понятно. Но зачем в костел? Верующий?

— Абсолютно нет.

— Ну вот,— говорю я,— не к чему прицепиться.

В том отношении, думаю я, что непонятно, какие еще сведения привлечь? Что узнать? У кого? С Даниловым, конечно, интересно было бы поговорить, но... где его найти?.. Месяц... Не месяц же его ждать... И так, черта... Думать надо, думать...

Оцениваю, словно впервые вижу, гляжу на Локтева и думаю: его надо подставить... Шея крепкая... И внешность хорошая — простофиля, серьезный... Подозрений не вызовет... Неплохая приманка...

— Что вы так смотрите на меня? — спрашивает Локтев.

-- Задумался,— говорю я (мне стыдновато) .— Пойдем.

-- Куда?

-- Куда-нибудь.

Идем на пляж. Раздеваемся. Локтем ухарски прыгает в мутную воду и плывет вниз по течению. Я греюсь на солнышке, и песочек теплый — хорошо. Отличное было бы мгновение, если бы не заботы, если бы лежать в одиночестве а не в компании с двумя призраками, требующими возмездия, и тенью безликого убийцы. Кто владеет тайной его судьбы? Кто может сказать? Как обосновать его виновность?

Что такое судьба? — думаю я. Это люди, столкновения их желаний. Не поддайся Данилов романтическому порыву увидеть фронтового товарища, Клинов не ринулся бы в командировку, не было бы двух смертей. «Неверное — говорю я себе. Этак получается, что всему виною Данилов. Встречаются тысячи однополчан, смертей, однако, из этого не следует. Другое дело, если бы Клинов, взволнованный телеграммой, угодил под колесо автобуса или же поезд, которым он ехал в Минск, сошел с рельсов. И тому подобное.

Начало этой истории, думаю я, положили журналисты. Какой-то расторопный парень, который навещает военкомат, послал эту информацию в «Известия». Там ее проверили, материал хороший — тут и торжество справедливости, и активная работа соответствующих ведомств, и фигура достойная — передовик, рационализатор. Газета пришла к читателям, среди которых оказался Данилов, бывший сослуживец Клинова, его друг, а может, и не друг, а командир отделения или взвода, где воевал Клинов, сентиментальная душа. Адрес? Написал гродненскому горвоенкому — вот и адрес. (Саша не проверил.)

Вдруг повеяло сыростью — это Локтем лег рядом. Я отползаю в сторону, да и песок подо мной остыл. Хорошо так лежать на горячем песке. Рай!

Рай-то рай, только вот убили Клинова, а за что? И Саша разиня хорошая, думаю я, не спросил, какой костюм на Клинове был — будничный или воскресный? Вежливый, скромный, порядочный (Клинов), а с Даниловым не по-дружески обошелся, не по-человечески. Хорошо, не приехал, а если бы приехал — стой на перроне, как дурак. И жене наврал: сказал — вынуждают ехать. И в Минске наврал. Вот тебе и без недостатков! Но и Данилов молодцом — в четверг отменил, люди уже могли поросенка зажарить... Два сапога! Ох, не понять мне их, думаю я. Гладко — не подступиться. Не возьмем с этой стороны. От костельных надо идти.

Лежу и думаю о костельных: об их скучной замкнутой жизни. О дивных их заботах; о старании ксендза найти в такой жизни смысл; о безумной вере Буйницкого в существование души; о смешном тщеславии Луцкевича; о сотне не знакомых мне людей, бросающих в костельную скарбонку свои деньги; об их твердой вере в свою правоту.

В половине третьего мы поднимается и следуем в костел послушать зауспокойную мессу. Ничего интересного в этом,. Разумеется, нет, но мы идем,. Поскольку существует мнение, что на похороны приходит убийца, чтобы кинуть прощальный взор на дело своих рук. Сомнительно, конечно, но такова сила предрассудка и надежды: вдруг среди лиц, отдающих последний долг несчастному Жолтаку, проявится одно, искомое — чем черт не шутит.

Мы немного опаздываем — ксендз Вериго уже читает скорбную молитву. Насколько я понимаю церковные установления, он совершает грех, ибо Жолтак, наложив на себя руки (ксендз обязан думать именно так), согрешил перед господом, не испил до дна отмеренную ему чашу страданий — вдруг на дне ее, в последнем глотке, была намечена ему радость необыкновенная. Поведение ксендза меня несколько смущает: то ли он угадывает истину, то ли им движут некие непонятные мне возвышенные соображения.

Гроб стоит на помосте, горят свечи; согласно христианским представлениям душа Жолтака сейчас наблюдает творимое прощание, чтобы запомнить пристойное или непристойное поведение присутствующих, которое зачтется им в день страшного суда. Присутствует человек двадцать пять; из наших знакомых, помимо ксендза, Буйницкие и органист, он при органе. Остальные, судя по выражению лиц, родственники и записные участники любых похорон, у которых скорбное чувство неиссякаемо, как родник.

Ксендз подает знак органисту, и под сводами костела плывет траурная песня, посвященная Жолтаку,— честь, заслуженная благодаря смерти. Если бы два дня назад Жолтак сказал: «Пан ксендз, распорядитесь, чтобы Луцевич сыграл для меня реквием», — ксендз подумал бы, что тот сошел с ума. Печальные звуки органной трубы действуют на нервы и мне; мой взгляд блуждает по лицам, обратившимся в маски, все они в приемлемой мере

соответствуют эталону кручины. Совершенно неожиданно -- словно укол иглой -- испытаю вину перед Жолтаком, прозрение некоего касательства к этой смерти, какой-то своей ошибки или оплошности, имевшей место и сыгравшей фатальную роль. Мистика, думаю я, влияние звуков, похоронный стереотип -- сейчас все чувствуют себя виноватыми.

Меж тем угасают последние аккорды, в наступившей тишине ксендз Вериги творит короткую молитву, четверо мужчин поднимают гроб, и все движется к вы

Мы с Сашей направляемся в гостиницу, молчим, вернее, я молчу; Саша что-то говорит о своих впечатлениях, но я его не слышу, потому что пытаюсь проследить генезис ущемившего меня странного чувства виноватости. Я детально восстанавливаю в памяти встречу с Жолтаком, что спрашивал у него, что он отвечал, как смотрел в глаза, что слышал ксендз, что он говорил, как глядел на Жолтака и так далее. Анализ воспоминаний поглощает меня, и я бреду за Локтевым, как слепец за поводырем, с той только разницей, что Саша меня за руку не держит.

Неожиданно Локтев останавливается, естественно, останавливаюсь, и оказывается, что перед нами стоит почтительная фигура — художник Петров.

— Здравствуйте, — говорит он весьма вежливо. — Я хочу спросить, можно ли мне уехать?

— Что, что? — спрашиваю я недоумевающая и сердито. — Что вы хотите?

— Я хочу уехать домой!

— Нельзя! — отрезаю я. Почему нельзя, я еще не знаю, в моих планах ему покамест место не отведено, но интуиция требует сказать ему «нельзя».

— А когда будет можно? — тоскливо допытывается художник.

— Завтра! — почему-то говорю я и непонятно для чего уточняю: — В половине первого.

— Ага! — только и находится произнести художник и удаляется в смутении.

Локтев недоумения не высказывает, он думает, верно, что я сказал «завтра», не думая по рассеянности, чтобы не вести лишней разговор; мог так же сказать «сегодня» или «послезавтра». Но слова мои отнюдь не случайны, как может показаться на первый взгляд, они продиктованы созревающим решением восстановить картину событий на месте преступления.

-- Постановка завтра будет, — говорю я Локтеву. — Я — режиссер, ты — помощник, и роль тебе какую-нибудь придумаем. Согласен?

Вечер

В шесть часов Локтев, согласно своим обязанностям помрежа, обходит свидетелей — ксендза, Буйницкого, Луцевича, художника, Белова — и говорит им завтра к одиннадцати утра обязательно быть в костеле.

Старую Ивашкевич, дочь органиста и экскурсантов мы решили не приглашать — они статисты, их легко вообразить. Человека в сапогах мы пригласили бы с огромною охотой, но местонахождение его неизвестно. Выяснение этого обстоятельства как раз и является одной из задач эксперимента.

Одновременно я обращаюсь к Максимову с просьбой завтра в четверть первого прислать к воротам костела оборудованную машину и милиционеров при оружии. В костел им входить не надо, если они потребуются, их позовут.

Потом мы собираемся в номере и начинаем работу. Составляем поминутную хронику пребывания свидетелей в костеле: девять часов ноль пять минут — в костел вошли художник и Буйницкие (показания ксендза); десять часов сорок пять минут — в костельной ограде появился Жолтак (показания ксендза); одиннадцать часов десять минут — в костел входит Клинов (показания художника, Буйницкого). И так далее.

Прикидываем порядок действия: первое — свидетели занимают изначальные позиции; второе — ксендз осуществляет движение по костелу; третье — движение Белова. И так подобное.

Сочиняем тексты бесед с участниками эксперимента — для каждого особые, придумываем кульминационный текст.

Локтев вдохновенно высказывает несколько дельных соображений, я его поощряю: чем больше он будет знать, тем лучше исполнит свою роль. Он выступает как приманка, ему сфальшивить нельзя — уверенный должен быть, серьезный, искренний. Убийца думает четко, глаз у него наметанный, реагирует соответственно.

Я говорю Саше:

— Если нам повезет и мы возьмем убийцу, то будешь конвоировать его до ворот — там машина. Ты должен следовать за ним в трех шагах, придерживаясь левой руки, при остановках делаешь дополнительный шаг влево; при попытке нападения или бегства ты обязан задержать преступника без применения оружия; твой пистолет — исключительно символ власти, атрибут психологического воздействия; ты имеешь право пускать оружие в ход исключительно при недвусмысленной и явной опасности твоей, моей или свидетельским жизням, исходящей от преступника, — только в этом случае, то есть в том случае, если он окажется вооружен и проявит все признаки применения оружия. Понятно?

— Понятно, — отвечает Локтев.

Через полчаса я повторяю ему то же самое еще раз. А еще через полчаса я вновь

интересуюсь, не забыл ли он, что в случае возможного выявления преступника должен конвоировать его до ворот, держась в трех шагах сзади со смещением влево и так далее.

Хорошая у него выдержка, говорит спокойно, не заметно, что сердится.

Саша еще минут десять расхаживает от стола к двери и обратно, размышляя о завтрашнем дне, затем садится к столу, расстилает газету, разбирает свой пистолет, зачем-то глядит в ствол на просвет, собирает пистолет и прячет в карман пиджака. После этого ложится в постель и засыпает молодецким сном.

Подвигав стулом и таким грубым скрипом Локтева не пробудив, я извлекаю на ту же газету его пистолет и для полной уверенности осматриваю и привожу в порядок сам. Разбираю, собираю, дивясь простоте устройства; маленький такой шарик, девять миллиметров в диаметре, а какой беды может натворить: будь ты богатырь-разбогатырь, тюкнет в грудь и словно ломом разворотит. Жуткая машина, осторожности требует, надзора; попадет в худую меткую руку, много оборвет жизней. Да хоть бы и одну, все равно... А ситуация этого не исключает. Опасен затеянный мною эксперимент, много в нем риска. Больше, чем следовало бы, чем разрешается, думаю я. Только другого решения я не вижу. А риск, ну что риск, и улицу перейти риск, если по сторонам не смотреть. Бдительным надо быть, ворон не считать. Он особо опасный, на все готов. Только к спектаклю не готов. Поди, и он в эту минуту варианты перебирает, готовится, определяет угрозу. Лежит себе в постели или покачивается на стуле, как и сейчас, не снился ему, тревожно. Думает: что вы, господа следователи, знаете? Почему я убил Клинова, вы не знаете, тут нам хода нет. И он прав, действительно не знаем. И он думает: для чего в костел пригласили — понятно; понятно, что не молиться; минуты будете считать — пожалуйста; ну и вычислите, что в такие-то пять минут в костеле оставались наедине Клинов и я. Ну и что, не доказательство, свидетеля-то нет, в царстве он небесном.

И он думает: а нет свидетеля — делу конец, точка. Нераскрытое. И второе — нераскрытое. Так что будьте здоровы! Благообразный зверюга, клыков не видно. Разъярить его надо, думаю я, чтобы высунулся, показался в натуре, защитника потерял. А остальное предусмотрено — и свидетели, и машина, и оружие. Только бы не стукнуло ему в голову вооружиться. Хотя чем, чем? Ну, нож... Ружье охотничье ведь не притащит. Не должен. Интересный завтра будет день, думаю я. Что о нем ксендз Вериго потом напишет?

Ночь

Локтев крепко спит. Мне даже досадно, что он так сладко, отрешенно спит, потому что я не могу отрешиться и заснуть. Нельзя сказать, что я бодрствую. Я лежу в постели, глаза мои закрыты, тело, безусловно, сонное, точнее сказать, ватное, но мозг мой работает, он поглощен

завтрашним делом, он в будущем времени, в костеле, среди участников эксперимента. Мне всегда не спится накануне развязки, хоть я и стараюсь себя усыпить. Все, что я вижу в такие минуты, нереально, это нельзя запротоколировать, но я убежден, что все то, что мне видится, и есть сокрытая тайна, открытая мной истина. Я разгадал для себя убийцу и не сомневаюсь в своей правоте. Но убийца должен сам признаться в своем преступлении, иначе я проиграю, я не смогу найти веские доказательства для суда. Я стараюсь дремать, но перед глазами у меня костел, и я один разыгрываю спектакль марионеток, который завтра коллективно исполнят семь живых людей, семь подозреваемых или свидетелей, неважно как их назвать, семь человек, среди которых прячется убийца.

Я вижу их в центральном проходе костела на фоне алтарного креста; все они освещены яркими лучами, которые солнце посылает в храм через стрельчатые окна.

Я начинаю исполнять свою роль, говорить свою заготовленную, продуманную, отредактированную речь; да, я не спорю, я соглашусь с любым обвинителем, что не ерничаю, что мои шутки грубоваты, но это мое средство обороны, это межа, которая отчуждает меня от него, затаившегося среди семерых, похожего внешне на всех не-убийц, и непохожего на них как инопланетянин. Я заставлю его в этом признаться.

— Мы собрали вас сюда, — говорю я, — чтобы воскресить некоторые события печального четверга. К сожалению, среди нас нет Жолтака, он, как известно, предан земле. Спит вечным сном и гражданин, обнаруженный ксендзом в исповедальне. В его роли будет выступать мой товарищ лейтенант Локтев.

Перенесемся, граждане свидетели, в день убийства. Одиннадцать часов. Вы, Петров, в одиннадцать часов стояли на подмостях. В это же время вы, Луцевич, вошли в костел, поднялись на хоры и сели за кафедру. Я прошу вас занять названные позиции. На дворе покойный Жолтак сбивал новую скамейку. Предположим что он и сейчас тихо постукивает топором. Теперь, пан ксендз, ваша очередь. Вы слушали орган, сидя в сакристии. Нет, идти туда не надо, присаживайтесь на любую скамью; будем считать, что вы незримы. Гражданин Белов в это время находился в музее. Остается пан сакристиан. Что делали вы?

— Какие-то мелочи, — отвечает мне Буйницкий, — менял свечи, смотрел, как работает художник.

— Значит, вы расхаживали по костелу, приглядывали за реставрацией, трогали подсвечники. Очень хорошо. Пан органист, если вас не затруднит, проиграйте какую-нибудь пьеску, негромко, если можно. Ну вот, примерно так было в четверг в начале двенадцатого. Вдруг входит незнакомый мужчина, никто его не знает — в жизни не встречал, допустим, не встречал. Богу он не молится. Что он делает? Скажем, слушает волнующие звуки органа. Что еще, пан сакристиан?

— Росписы смотрел, иконы, — отвечает Буйницкий, — ну, любопытствовал...

— Пожалуйста, Саша, обходи костел. А вы, пан сакристиан, делайте вид, что меняете свечи. Кстати, некоторые, действительно, следует заменить.

Послушаем орган — у нас есть десять минут. Вы, Буйницкий, не помните, сидел ли незнакомец?

— Присаживался. На передней скамье и где-то на средних сидел..

— Прошу, - Саша, — говорю я. — Представь себе, что ты кого-то ждешь, у тебя важное свидание. В глубине души ты взвинчен, нервничаешь, а приходится изображать любознательность. Присел — не сидится — и опять ходишь, туда, назад; мимо подмостей, возле пана сакристиана — так скорее летит время. Пан ксендз, будьте добры пройти на алтарь. Я подымусь на хоры. Следите за мной. Следующие указания я дам сверху.

Двадцать две ступени винтовой лестницы. Я сосчитал их в первый день следствия. Лестница сложена из фигурного кирпича, прочного, как гранит. Сегодня такого не производят. Сегодняшний кирпич покрошился бы под сапогами органиста за день. Этот служит людям века. Таково было отношение предков к качеству. Каменная лестница выгодно отличается от деревянной не только прочностью, но, главное, тем, что не издает предательских скрипов. По ней можно красться. Вверх или вниз. И никто не услышит. Если крадешься вверх, то сначала виден пол, ноги пана Луцевича на педалях, затем поворот ступеней уводит взгляд на балясины, на стену, и с каждой ступенькой выше, выше, и опять виден орган, и пан Луцевич, качающийся на стуле, и его вздрагивающие руки, скрытые наполовину бортом кафедры. Как играют на органе, я никогда не видал, мне интересно, как это делает Луцевич. Стою и смотрю. Органист спрашивает глазами, долго ли еще играть. Я показываю два пальца — две минуты. Он согласно кивает и, верно-таки, закругляет пьеску как раз вовремя.

— Спасибо, пан органист, — говорю я. — Вы и взаправду здорово играете. Я вовек бы не научился. Пройдем к балюстраде.

Став рядом, мы оглядываем костел. Ксендз застыл в дверях сакристии. Петров стоит на подмостях. Белов, пользуясь случаем, изучает оклад иконы. Буйницкий стоит возле алтарного креста. Саша глазеет плафон с изображением небожителей.

— Пан ксендз, -- зову я, — итак, вы послушали орган и теперь идете к Петрову, а вы, Петров, спускаетесь на пол. Саша, тебе следует сдвинуться вправо, сейчас ты разминешься с паном Вериго. Гражданин Буйницкий, вы остаетесь на алтаре. Саша и пан Вериго, взгляните друг на друга. Хорошо. Теперь, пан ксендз, вы рассматриваете роспись. Так, все, ваше время истекло, вы возвращаетесь домой, вас больше нет. Присаживайтесь пан ксендз. В костел входит Белов. Пожалуйста, гражданин Белов, пройдите к амвону. Петров, вы уходите в кафе.

Нет, нет, не надо уходить, вообразите, будто вы в кафе, стоите в очереди. Саша, ты продолжаешь бродить. Гражданин Буйницкий, вы что-то поправляете, стираете пыль, подсматриваете за Беловым.

— Гражданин Белов, в четверг вы провели в костеле десять минут. Засаею время.

Пусть поскучают, думаю я, пусть нервы напрягут, спешить некуда.

В моем воображении эти люди ведут себя несколько иначе, чем в реальности и, тем более, в свидетельских показаниях. Возможно, моя интуиция точнее чувствует их сущность, то, что умышленно или невольно приукрашено, прихорошено или утаено. Вот, например, Белов много рассказывал про свой интерес к старинному амвону, однако, я вижу, что он совершенно к нему равнодушен, не горит в нем энтузиазм любителя древностей. Анеля Буйницкая держит в руках ведро и тряпку, но мысли ее, безусловно, далеки от своих несложных обязанностей и костела. Червь какого-то тяжелого раздумья гложет сакристиана, ранее выявлявшего полное внутреннее спокойствие. Только Саша держится молодцом, правильно себя ведет, маячит у них глазами, вполне для них непонятно, хорошо нагнетает чувство предчувствие близкой неприятности.

-- Ну вот, гражданин Белов, — говорю я, — вы покидаете костел. Присаживаетесь рядом с ксендзом Вериго. Саша, ты должен стать у передней скамьи, смотреть на пана органиста.

-- Пожалуйста, Луцевич, спускайтесь вниз.

— Я был за кафедрой,— объясняет органист.

— Я знаю. Это уже условно. Ксендза Вериго тоже не было в костеле, однако вот он сидит. Прошу. Пожалуйста, вперед. Так, теперь вы стоите здесь, между притвором и колонной.

— Саша! — Зову я — Иди к выходу. Под люстрой остановись. Не бойся, она не упадет. Тут тебя нагоняет Буйницкий. Прошу, гражданин Буйницкий. Станьте рядом.

Все хорошо, но кого-то не хватает. Ага, Жолтака не хватает. Облик его еще жив в нашей памяти, и, я думаю, никому не составит труда вообразить следующее. Вот скрипит входная дверь, в притвор входит Жолтак, целует крест, преклоняет колено, молится и смотрит на вас, Саша и гражданин Буйницкий. А вы на него. Короткие равнодушные взгляды. Теперь он возвращается на двор, его нет. Таким образом, в костеле присутствуют трое: незнакомец, гражданин Буйницкий и гражданин Луцевич. Однако органист наверху, он сидит за кафедрой, он играет. Правильно я говорю?

— Нет, — отвечает Буйницкий. — Вы забыли о другом человеке, в сапогах.

Помню, — говорю я, — но ему еще не черед, он появится чуть позже. А вас, вас обоих, я прошу пройти к иконе богородицы. Так. Здесь, пожалуйста, задержитесь. Одиннадцать

сорок. Пять минут можно о чем-либо поговорить.

— О чем? — спрашивает Локтев.

— Не имеет значения. Хоть о погоде. О видах на урожай. Все равно. Пожалуйста, Саша, будьте добры, гражданин Буйницкий, не надо молчать. Любой разговор. О чем угодно.

-- Как настроение, пан сакристиан? — спрашивает Локтев согласно сценарию.

— Нормальное.

— Странно, странно, — ерническим тоном реагирует Локтев.

— Что в этом странного?

— Как же, конец игры, как говорится, финиш.

— Не понимаю, — говорит Буйницкий.

— Ну и зря. Маленький, но роковой просчет. Прошедшей ночью следовало уехать. Уже далеко были бы, верст за пятьсот...

— Ерудну, простите, какую-то говорите, — начинает волноваться сакристиан.

-- Нас и просили ерудну говорить. Так что обижаться вовсе ни к чему. Можете что-нибудь умное ска— предлагает Локтем. — Никто. не мешает. И потом, не такая уже ерунда, если разобраться. Ничего себе ерунда. Высшей мерой пахнет, а вы ерунда, говорите.

— Полнейшая ерунда. Какой мерой?

— Громче, пожалуйста, — говорю я.

— Расстрелом! — восклицает Локтев.

— Ну, знаете! — вскрикивает Буйницкий. — Это сверх всяких пределов. С меня достаточно! — и поворачивается уйти.

— Одну минуту, гражданин Буйницкий, — останавливаю я разгневанного сакристиана. — Не сердитесь, разговор, действительно, условный. Я вас только на минутку еще задержу. Вы остаетесь стоять, а ты, Саша, уходи. Так, повернись к пану сакристиану затылком. Сделай шаг, еще шаг. Стоп. Теперь вы, Буйницкий, возьмите подсвечник. Лучше тот, крайний, в котором новые свечи. Не стесняйтесь, в костеле, как мы условились, никого нет, а Луцевич сидит к вам спиной. Берите и бейте им собеседника по голове.

Буйницкий онемел, руки его безвольно падают, взгляд, полный страдания, обращается ко мне — о, я ни в чем не виновен, я добрый, мирный человек, — говорит этот взгляд, — какое ложное заблуждение о моей душе, я — агнец, маленький, беленький ягненок, не мучайте меня подозрениями, отпустите. К горлу его подкатывает ком слов (мне так кажется), но он молчит. Дожимать его надо, думаю я, надкололся.

Буйницкий поднимает глаза, глядит на Белова, потом на ксендза, потом на органиста и по-прежнему остается нем.

— Ах, Буйницкий, — продолжаю я с укоризной, — сколько страданий вы доставили

своей жене...

Жена стоит возле ксендза Вериго, окаменев от прозрения на трагическую ошибку своего замужества.

Но и это его не пронимает, в ответ он беспомощно пожимает плечами.

— Да, граждане свидетели, — говорю я. — Так происходило в четверг. Затем он спрятал убитого в исповедальню, вытер подсвечник и продолжал бродить по костелу, словно ничего не случилось.

— Саша! — говорю я. — Гражданин Буйницкий задержан.

Локтев поворачивается, отступает на шаг, достает свое оружие и командует задержанному:

-- Заложите руки за спину. Идите вперед.

— Господи! — шепчет ксендз. — Не может быть...

Буйницкий тяжело потянулся к входным дверям.

Локтев конвоирует его в полном согласии с моими указаниями. Молодец. Точность — половина удачи.

Этот прощальный проход Буйницкого вдоль колонн к притвору очень меня сердит. Мне не нравится, что сакристиан молчит, уж как-то быстро он сломался, согласился на поражение недопустимо легко. В немом виде от него мне никакой пользы не будет. А он бредет, как козел на заклание, пожалейте, мол, меня. Поравнялся с органистом, взглянул на него и поворачивает на выход.

— Гражданин Буйницкий, — говорю я. — Повернитесь. Вы ничего не хотите сказать на прощание, — спрашиваю я. — Не мне, а вашим коллегам — ксендзу Вериго, органисту Луцевичу. Вы пятнадцать лет провели вместе. Жене, наконец...

Буйницкий, потупив голову, отрешенно молчит. Мне кажется, он меня уже не слышит. Уже созрел, думаю я.

Саша, как и надлежит конвоиру, стоит от него налево, только вот пистолет опустил.

— Что вы молчите, Буйницкий! — взываю я. — Ведь вы видите этих людей, возможно, в последний раз Белова, и ксендза Вериго, и органиста, и свою супругу...

— Мне нечего сказать, — шепчет Буйницкий.

— Ну, что же, — говорю я, — у вас был выбор. Вы отказались. Теперь я скажу. Даже не я, а вот вы, Петров. Пожалуйста, внимательно как художник посмотрите на лица Буйницкого и Луцевича и определите, кто старший, кто младший брат.

При последнем моем слове органист делает кошачий скачок к Локтеву и ударяет его ребром ладони по шее, еще миг — и черный глаз Сашиного пистолета глядит мне в грудь.

— Не шевелитесь, майор, — командует органист. — Руки поднимите. Повыше. Иначе

сами знаете, какая получится неприятность. А ты, — органист кивает Локтеву, который, подобно рыбе, выброшенной на берег, хватается ртом воздух, — стань рядом с командиром. И вы, и вы (Белову, ксендзу) тоже рядом. Все вместе.

Хоть я и лежу в постели, я чувствую озноб, которым охватило свидетелей.

.Удачно он Саше попал, думаю я. Чего это я не пожалел парня. Впрочем, сам виноват. Зевать не надо. Ничего, даст бог, сквитаемся.

— Стась, открой подвал, — командует органист.

— Ты этого не сделаешь, — шепчет Буйницкий. — Это нельзя.

— Поторопись, дурак, — прикрикивает органист.

— Опомнись, — призывает Буйницкий.

— Выхода нет, — говорит органист. — Ключи. Быстро.

— Неужели вы нас убьете? — спрашиваю я и провокационно делаю шаг вперед.

Органист, не раздумывая, нажимает спуск.

Мне, однако, везет — осечка.

Я молниеносно посылаю руку в карман, но не успеваю, органист передергивает затвор раньше.

— Подлец! — кричит Стась Буйницкий. — Убийца! — и бросается на брата.

Луцевич стреляет в сакристиана в упор. Это означало бы точную смерть, если бы пистолет не отказал вновь.

Буйницкий бьет органиста кулаком в лицо, но не очень удачно, с ног не сбивает, хватается за пистолет и свободной рукой лупит куда попало. Белов бросается на помощь.

— Не надо, — останавливаю я его. — Пусть подерутся.

Пока братья избивают друг друга, я достаю свой пистолет и снимаю предохранитель.

— Достаточно, — кричу я. — Разойдитесь. В сторону, пан сакристиан. Пан органист, не надо ломать затвор — обойма пуста.

И я делаю паузу, чтобы он смог осознать происшедшие перемены.

И вот настал мой звездный час в этом деле, долгожданная минута, ради которой три дня иссушался мой мозг. Я говорю:

— Гражданин Буйницкий Валерий Антонович, вы задержаны по обвинению в двух умышленных убийствах, а также в нападении на инспектора милиции, насильственном захвате оружия и попытке убийства майора милиции и родного брата.

Полная тишина. Моя победа. Торжество следствия.

Готов органист. Накрыт. Хорошо я все рассчитал. Красиво. Самому нравится. И свидетели — трое, и брат, самое важное, брат сломался, и пистолет в руках. Правильно я его разрядил. Как чувствовал. Перед Сашей покаюсь, обиделся чуть не плачет с досады. Ничего

ничего, простит. Славно получилось. Хорошо. Вот так, пан органист. Это не Жолтака убогого убивать. Крупная ты, наверно, сволочь. Ну, ксендзу сегодня без валидола не обойтись. Совсем остолбенел старик. И художник. Песни вместе пели. Спета песенка. Сыграны хоралы. Ну, еще раз на пистолет посмотри. Дошло наконец. Открылось. Тоскливо. Это я понимаю, что невесело. Что же ты теперь сделаешь?

— У меня есть просьба, — смиряется органист.

— Какая?

— Один патрон.

— Не по заслугам честь, — отказываю я. — Вы держали в руках пистолет? Что сделали? То-то.

— Ну что, пан сакристиан, — обращаюсь я к Стасю Буйницкому, — у вас еще есть основания скрывать брата?

Сакристиан молчит, по-видимому, он не слышит моего вопроса, у него, по-моему, в ушах стоит звон, поскольку братец сумел ударить его в ухо рукоятью пистолета.

— Гражданин Петров, — окликаю я художника. — Я обещал освободить вас в полдень — можете идти. Идите, идите. За воротами стоит милицейская машина, передайте, пусть придет конвой.

Локтев забирает у органиста пистолет и отходит в сторону заполнить обойму. Вид у него при этом невеселый.

Остальные немые и недвижимы.

Наконец органист, конвоируемый милиционерами, в последний раз переступает порог костела и глухой стук двери, как стук гильотины, символично отсекает его от жизни. Такое мрачное исчезновение брата вгоняет Стася Буйницкого в истерику.

Сострадательный ксендз Вериго кладет ему на голову руку и говорит утешительные слова успокоения: «Стась, не надо, возьмите себя в руки. Успокойтесь, Стась» — и так далее, что производит на сакристиана благотворное действие. Он обращает на меня взгляд, полный тоски, и покаянно говорит:

— Меня тоже следует арестовать.

-- Знаю, — соглашаюсь я. — Всему свое время. Прежде поговорим о деле. Как брат объяснил вам первое убийство? Что он такое сказал, чему вы поверили?

-- Чему я поверил! — словно в просветлении повторяет сакристиан. — Господи! Все произошло так быстро, нелепо, страшно, мгновенно произошло... Когда ушел Белов, Валерий спустился вниз и заговорил с незнакомцем... потом позвал меня, сказал закрыть костел... В эту минуту вошел Жолтак... Брат и тот человек беседовали... Жолтак увидел их вместе... Мне было не по себе, вышел во двор... Затем дверь костела отворилась, и брат позвал меня...

«Открой подвал», — сказал он. «Зачем?» — спросил я. «Я убил его», — ответил он. Я онемел. Тогда брат стал говорить, что этот человек бывший эсэсовец, был с ним в одном отряде, а сейчас шпион, из-за границы... «У меня не было выхода, — сказал брат. — Если бы он вышел отсюда, он выдал бы меня, а я не могу позорить дочь...»

Такое вот дело, думаю я, вот что выплывает.

— Вы любили брата? — спрашиваю я. — За что?

— Я не любил его, — говорит Буйницкий. — Я люблю племянницу.

— Но как он здесь жил под чужой фамилией?

— В тридцать девятом году он уехал учиться в Варшаву... Потом война... Все думали, что он погиб... Но вот в сорок шестом году осенью... ночью... он пришел... голодный, истерзанный, на грани отчаяния... Оказалось, попал в плен, там выбор — пуля или в полицию... стал полицейским... клялся, что ничего дурного не делал... Добрые люди достали ему новые документы, он прячется, хочет уехать, просил денег... Как раз недавно мама умерла... поверил... В костеле не было органиста, я подсказал...

— Понятно. А убийство Жолтака? Почему вы с ним примирились?

— О боже! — ужасается ксендз Вериго.

— Нет, я не знал! — вскрикивает Буйницкий. — Все твердили — самоубийство. Вы тоже сказали — сам. Я спрашивал у Вали — она говорила, что отец спал страшно пьяный.

— Он не спал, — открываю я им глаза на истину. — Дело происходило так. Он пришел к ксендзу, пил, пел песни, устроил скандал дома и заснул пьяным сном на глазах дочери. Это алиби. Однако пьян он не был, последнюю бутылку -- это отметил в своих записях ксендз — он не тронул, ее выпил художник. Зачем он пошел к Жолтаку? Потому что я случайно проговорился, что у Жолтака находится Локтев. Ему было важно узнать, сказал ли Жолтак Локтеву, что видел встречу в костеле. Жолтак не сказал. На свою беду. Тогда ваш брат совершил второе убийство. Сейчас полностью понятны и мотивы первого. Человек, убитый вашим братом, по паспорту его фамилия Клинов, но он такой же Клинов, как ваш брат — Луцевич, никакой не шпион. Нам еще предстоит разобраться, как к обоим попали чужие документы. Вернее всего, истина окажется печальной.

Этот ЛжеКлинов во время войны был с вашим братом, иначе он к нему не пришел бы. Маленькая заметочка в газете разрушила его мир. Он оказался на виду, ему стало страшно. Он знает, что военные преступления не имеют срока давности, таким преступникам закон не прощает. И двадцать, и тридцать лет последующей, благопристойной, добродетельной жизни не уменьшают вину за убийства, предательства, карательную службу. Он не может сказать о своем прошлом жене, друзьям, знакомым — никому, даже случайному собутыльнику. Признание делает его врагом любому человеку. А меж тем ему хочется поддержки, помощи,

хотя бы совета.

И он надеется найти их здесь, в костеле, где пристроился и неприметно живет его бывший сообщник. ЛжеКлинов завидует ему. Ведь все, что он делал после войны, его многолетние усилия, его новая жизнь — все может пойти прахом. А тут безопасно. Ему, наверное, показалось, что тут он обретет спокойствие, пересидит тревожные дни. Утром в четверг, я думаю, он караулил у костельной калитки, ожидая, когда появится органист. И действительно, он вошел следом за ним. Но в костеле оказались посторонние. Ваш брат заметил бывшего приятеля.

Когда ушел Белов, решил узнать, зачем здесь ЛжеКлинов. На свое несчастье, тот рассказал правду, и органист пустил в ход подсвечник.

Ваша ложь, Буйницкий, о некоем человеке в сапогах следствию не помешала, а вот ложь вашей племянницы о времени прихода в костел путала карты основательно. Стоило бы ей поверить, и нам пришлось бы подозревать в убийстве ксендза Вериго. Кто ее подучил: отец или вы?

— Я не учил, — говорит Буйницкий. — Вообще, когда я увидел брата у ксендза пьяным, поющим песни после совершенного убийства, мне стало жутко на него смотреть...

— Тем не менее, вы молчали. И даже сегодня не решились заговорить, хоть вас назвали убийцей.

— Я думал о Вале.

— Вообще-то ее следовало наказать, — говорю. — Единственное, что ее извиняет, это фамильное сходство с вами. Это был ключ. Дарственные подписи «дядя Стась» подтвердили ваше прямое родство. Все остальное вытекало из этого факта. Ваши чувства к племяннице понятны, но какую бедой они могли обернуться для других. Представьте, что было бы, если бы пистолет был заряжен. Мы все, и вы тоже, лежали бы сейчас штабелем в подвале.

— Я виноват, — бормочет Буйницкий. — Мне поделом...

Как следователь я понимаю меру его вины и меру его ответственности. Но по-человечески я жалею его. Неизвестно еще, как бы я сам повел себя в подобной ситуации с грешным братом. Зов крови, сила родства, воспоминаний детства, память о матери, о чудных днях в семье — все это легко может пересилить логические доводы рассудка. Да еще впридачу рядом живет племянница, которая заменила потерянных детей. Нет, не могу я винить бедного сакристиана. Слаб он духом, не решился взять на себя ответственность за жесткое решение... Но и за это ему придется платить страданием. Еще одним страданием в неудавшейся, надо признать, жизни...

Светло в комнате, голубые прозрачные лучи рассеивают ночной мрак. Хоть это и не лунный свет, а фонарный, но все равно есть в нем какая-то магия. Сонное время. Миллионы

людей спят. У каждого свои сны, свои заботы, свои тайные желания. Мое исполнилось, я заглянул в завтра, пережил его, и пребывание в будущем меня обессилило. Надо допустить, что в некоторых деталях я неточен, но интуиция подсказывает мне, что в целом я угадал, догадался, проник в старую тайну и в тайну двух недавних насильственных смертей.

Локтев спит, он не знает что его ждет, ему не надо брать на себя ответственность, ему проще. Теперь и мне следует заснуть, мне просто необходимо поспать хоть бы пару часов, чтобы завтра по четкой программе провести разоблачение чрезвычайно опасного преступника.

Убийца

Мы с Локтевым приходим в костел первыми без четверти одиннадцать. За сто метров до костельных ворот нам встретила у колонки пани Буйницкая с полными ведрами. Я сразу отметил эту добрую примету. Саша догадался помочь женщине, и мы подошли к костельным дверям в таком порядке: Саша, я, пани Анеля. Никого из свидетелей ни во дворе, ни в костеле еще не было, если, разумеется, не считать Буйницкую, которая немедленно приступила к выполнению своих служебных обязанностей. Вернее, продолжила их — два нефа были уже вымыты, мокрый пол приятно отблескивал в солнечных пятнах.

Буквально вслед за нами, словно все они прятались за углом, появились Белов, ксендз, художник и пан сакристиан. Анеля Буйницкая, поразмыслив, отнесла ведра и тряпку к приоткрытым дверям кладовочки под хорами, где хранились черный гроб и пасхальные хоругви, а сама присела на скамью возле мужа. Белов, как полностью невиновный, чувствует себя оптимистом, но все же, надо думать, и ему немного страшновато быть любопытным при безжалостной драке. Используя удобный случай, он жадно рассматривает амвон, с которого ксендз Вериго много лет подряд читал проповеди своему рedeющему приходу. Мне жаль, что я не слышал воскресной проповеди ксендза; все же он в отличие от наших лекторов учился риторскому искусству в Италии. Останься он тогда в Италии вся его жизнь прошла бы совсем по-другому; во всяком случае ему не пришлось бы на старости лет выслушивать от юных воинственных атеистов, что он «вор, который обманывает народ», «опиул», «наркотик». Так их учат в школе. Сочувствую старому ксендзу. Что начнут кричать ему вослед пионеры, когда имя убийцы станет достоянием городской общественности? А какой нечаянный подарок преподносит судьба здешним идеологам! Не счесть будет разоблачительных лекций под интригующим названием «В тени креста», которые прочитает во всех коллективах культурный актив. Белов мгновенно станет победителем, получит здешнее архитектурное наследие для так называемого всеобщего пользования; он и не подозревает, насколько близок к радостному финалу. Но, возможно, подозревает, и уже составил в уме план мероприятий.

Хоть и преступная рука помогла в этом успехе, едва ли он смутится такой мелочью...

Все собрались, все готовы, только органиста что-то не видно. А без него начинать игру бессмысленно — не бывает вечеринки без гармониста. Не нравится мне его отсутствие. Саша, прошу я, узнай у свидетелей, может кто видел Луцевича. Локтев обходит наше собрание, и я наблюдаю искренние отрицательные ответы. Неужели пьет для храбрости, думаю я. Но допущение это весьма несерьезное, оно сразу же и гаснет. Господи, неужто удрал, пронзает меня мрачная догадка. Посеред ночи вышел из дома, остановил попутку — и был, как говорится, таков.

Мы ждем органиста уже десять минут. Непредвиденная задержка выбивает меня из графика и сильно портит мне настроение. Да и свидетели начинают высказывать шепотком свое непонимание и недовольство. Глупая складывается ситуация...

— Мы собрали вас, — наконец обращаюсь я к свидетелям, — чтобы воскресить некоторые события печального четверга. То, что здесь будет происходить, называется следственным экспериментом. — Тут я их сознательно обманываю, надеясь на их юридическую неграмотность. Для эксперимента мне необходимо получить разрешение, которое мне, бесспорно, не дадут, поскольку я не смогу обосновать необходимость такого действия. Интуиция и гениальные догадки невысоко ценятся людьми, которые ставят свою подпись на документы. Я рискую, но они рисковать не любят. Слава богу, что в нашей стране свидетели безропотны, я уверен, что не услышу возражений. Так и есть, все молчат. — К сожалению, — продолжаю я, — среди нас нет бедного Жолтака, он, как известно, предан земле. Спит вечным сном и гражданин, обнаруженный ксендзом Вериго в исповедальне. В его роли выступит мой коллега лейтенант Локтев.

Этот текст многократно отрепетирован, я произношу его без запинки, но далее мне приходится вносить нежеланные поправки.

Мы могли бы уже приступить к эксперименту, но по неизвестным причинам задерживается органист Луцевич. Так что прошу вас несколько минут подождать, сейчас мы постараемся недисциплинированного свидетеля отыскать.

Все полны понимания и снисходительности, все согласны ждать, и я посылаю Локтева за органистом, а за одно прошу привезти в костел его дочь и старую Ивашкевич, если та, разумеется, достаточно выздоровела. Ни в юной, ни в преклонных годах свидетельнице я никак не нуждаюсь, но поездка за ними вроде бы оправдывает нашу медлительность, а главное, я надеюсь, что за эти десять минут появится органист. Давно я не испытывал такой растерянности и проклиная себя за недомыслие: уж что-что, а возможное бегство Луцевича следовало предусмотреть и принять превентивные меры. Но действенные меры принял он, а мы мечтали. Редкий волк смиряется с тем, что его окружают красными флажками. Органист

мог уехать в Крым, в Юрмалу, на Байкал, подписки о невыезде он не давал, он может вернуться через месяц, а признаться в преступлении он должен сам и, желательно, сегодня. Но, кажется, Луцевич понял мое желание и решил повременить. Все имеет предел, писал некогда Эразм Роттердамский, только глупость человеческая беспредельна. А каким умным я казался себе ночью! Как просто, легко и красиво распорядилось поступками людей мое воображение. Но сейчас, похоже по всему, мне предстоит сесть в лужу. Сейчас войдет Валя Луцевич и сообщит «Папа уехал в Сухуми». А куда он на самом деле уехал, знает только бог.

Стась Буйницкий печален. Я допускаю, что печаль его светла, что ему известно об исчезновении коллеги, а по моим расчетам и самого близкого родственника. Может быть, он и не любил брата, но вот же, терпел, посему ему выгоднее, чтобы эксперимент не состоялся.

Супруга его, пани Анеля, безучастна, она свое горе отгоревала давно, и вообще-то, я полагаю, она терпеливо ожидает, когда закончится суэта моей затеи, что вымыть за нами пол и вновь вернуться к размеренной жизни костела и своему одиночеству в этом мире, где ей выпало узнать больше бед, чем счастья. Чувствительный ксендз Веригго должен чувствовать мою растерянность; я понимаю, что он ее чувствует так называемыми фибрами души, потому что с каждой минутой я все менее уверен в успехе. Никто не может избежать ошибок, успокаиваю я себя. Да и как понимать ошибку. Я не предупредил побег — и это моя ошибка. Органист не пришел в костел — и это свидетельство в мою пользу. Стало быть я не ошибся...

День сегодня чудесный. Свет прямо-таки рвется в костел, солнечные лучи прорезают воз дух от одной до другой. Будь я суеверен и будь тут органист, я подумал бы, что солнце подает добрый знак. Но пока что это знак не для меня. Я жду, я прислушиваюсь к дверям, и наконец они скрипят -- возвращается Локтев, а следом за ним входят дочь органиста и сгорбленная годами Ивашкевич. Любопытству, как и любви, думаю я, покорны все возрасты. Луцевича нет и, значит, уже не будет. Мое разочарование обретает свинцовую тяжесть. Нет смысла разыгрывать спектакль, понимаю я. Он будет скучен без главного персонажа и без музыки. Орган молчит, медные его трубы не рокочут, и должной мистической атмосферы, необходимого душевного трепета действующих лиц мне теперь не достичь. Ибо, по моему разумению, мощный голос органа свидетельствовал бы о присутствии вышней силы, о невидимом главном свидетеле.

Думая о своей неудаче, я меж тем интересуюсь у Валентины Луцкевич, где задерживается ее отец. Она сообщает, что это ей неизвестно, что он должен был придти или придет, потому что вышел из дома в десять, сказав, что ведет в костел на сбор свидетелей. «Так где же он, если всей дороги до костела десять минут?» — хочется закричать мне, но я молчу. Словам девушки я верю, но они меня не успокаивают. Возможно, ее отец и появится, но при ней мой эксперимент невозможен. Мне ее жалко. На ней нет вины, а страдать ей

придется всю жизнь. Горькие дни ждут эту девушку; не сможет она рассказать своим детям про своего отца, и вообще никогда никому не расскажет. И консерваторию ей придется оставить. И органная музыка станет для нее вечным источником муки. Неприятно сознавать, что именно мне выпало завязать для нее узел трагедии. Поскольку именно мне придется произнести вслух роковое слово «убийца». Так что, если он придет, решаю я, Локтев сразу же отвезет ее домой...

— Граждане свидетели, — говорю я, — приступим. Начнем с того, что восстановим последовательность вашего появления в костеле в четверг и ваших действий. Органиста пока нет я позволю себе быть его двойником.

В качестве двойника я поднимаюсь на хоры. Опершись о балюстраду, я разглядываю три нефа, алтарь, скамьи, широкий проход между ними, исповедальню с бархатной шторой, семерых довольно скучных свидетелей. Выстраивая мизансцены, режиссерской отсебятины я себе не позволяю. Мои постановки тем лучше, чем точнее следуют протоколам опроса. Поэтому ксендз Вериго удаляется в сакристию, Буйницкий неторопливо ходит у алтарного креста, его жена имитирует мокрую уборку помещения, художник взбирается на подмости, а Локтев бредет вдоль ряда икон, изображающих крестный ход Иисуса Христа. На хорах не хватает органиста, он в нетях, а без него все движения свидетелей абсурдны — они не ведут к развязке. Его нет, и я вынужден доигрывать пьеску абсурда.

Из сакристии выходит ксендз, Саша идет ему навстречу, вот они разминулись, Петров спускается вниз. Ксендз, поглядев на росписи невидящим взором, садится на скамью -- это означает, что он уже в своем домике пишет дневник на латинском языке. Петров садится возле ксендза -- его тоже нет, он как бы в закусокной, куда привезли бочковое пиво. Скрипит дверь, обозначая появление Белова. По его словам, он проторчал в костеле минут десять, любясь живописью и слушая музыку. Я сокращаю десять минут до минуты и позволяю Белову присесть. Он занимает скамью позади своего антагониста.

Буйницкая, следуя общему примеру, тоже присаживается, но на левый ряд. В четверг в это время она отсутствовала -- ходила за водой. Если бы рядом со мной стоял органист, я обязательно указал бы ему, что в костеле присутствуют трое -- он, Клинов, сакристиан Буйницкий. На мгновение в костел заглянул Жолтак, обрекая тем самым себя на смерть. Можно и это обозначить, то есть не смерть, а внезапное появление бедолаги. Я прошу Сашу -- он выходит и входит, двойной скрип двери напоминает всем о покойном. Был бы тут органист, мы быстро достигли бы кульминационной точки, но поскольку он, выйдя из дома, до костела не дошел, то можно объявить эксперимент оконченным и распустить всех по домам. Однако присутствие пани Ивашкевич и дочери органиста требует включить в игру и их. Иначе им будет обидно, что их побеспокоили впустую. Я приглашаю Вальду Луцевич за

орган, старая Ивашкевич отправляется к исповедальне. Ксендз Вериго как бы вновь возникает в костеле, который только что покинули экскурсанты из дома отдыха. Буйницкий сообщает ему о желании пани Ивашкевич снять с души тяжесть каких-то сомнений. Она уже достигла исповедальни и опускается на колени перед оконцом в боковой стенке. Она все воспринимает всерьез. Ксендз несколько этому не радуется, он посылает мне растерянный вопрошающий взгляд -- мол, что делать, не исповедовать же простодушного старого человека в ходе сомнительного милицейского эксперимента. Я не реагирую, мне все равно, и ксендз повторяет то, что сделал три дня назад -- несколько минут слушает экзерсисы юной органистки и вынужденно бредет к исповедальне слушать тайные признания старой женщины.

Что можно шептать о себе сквозь решетку, думаю я. Что можно шепнуть в ответ? Неужто ксендз Вериго и впрямь знает все грехи своих прихожан за сорок лет, похоронил их в своей памяти, и на каждое грешное признание нашел утешительные слова? Но много ли нашлось прихожан, кто признавался в грехах смертных? Возможно, за сорок лет этот короткий путь к исповедальне утомил ксендза своим однообразием. Ведь тысячи раз вот так же, как сейчас, пан Адам подходил к этому устройству для приема чужих тайн, видел коленопреклоненного человека, отдергивал штору. Люди не исповедуются о своем счастье. Счастье всегда на лице, его не спрячешь, его и не надо утаивать. Кто придет в костел шептать о счастье, стоя на коленях перед мелкой деревянной решеткой, к которой прижато ухо священника? Приходят несчастные. Они серьезны, они надеются превратиться в счастливых. Но разве кто-нибудь в этом мире может принять на себя чужой грех? Освободить от него? Ксендз примиряет грех с жизнью...

Крик ужаса, усиленный эхом, возвращает меня к реальности. Это кричит ксендз Вериго, и я вихрем несусь вниз по винтовой лестнице и бегу к исповедальне. Адам стоит возле нее в паническом оцепенении, седые его волосы шевелятся. Я отвожу штору и наталкиваюсь взглядом на прислоненного к стенке органиста, уже, как я констатирую, неживого.

Бог -- единственный свидетель

Бывшие участники следственного эксперимента, и они же -- нечаянные свидетели повторного преступления -- хмуро сидят у костельной ограды на лавки, починка которой стала последним земным делом Жолтака. Вернее сказать, на лавку присели трое -- Белов, - художник и пани Ивашкевич. Стась Буйницкий обессилено валяется под стеной. Не очень пристойно для костельного сакристиана уподобляться пьяному молодцу, но я его понимаю -- только что он потерял брата, увидел его убитым, и ему есть о чем пострадать или о чет-то

порадоваться. Мне тоже хочется лечь в траву и заснуть. Но Саша уже помчался в райотдел сообщить о новом убийстве в исповедальне. Скоро придут милиционеры, эксперты, врач, следователь прокуратуры Фролов. Потом из меня будут вытягивать жилы за самовольство. Но это легко пережить. Главное, что я проиграл, и меня разбила апатия. Мне лень думать... Разбитую истерикой дочь органиста Анеля Буйницкая увела в домик ксендза. Пан Адам тоже поспешил в родные стены успокоить несчастную девушку. Успокаивать счастливую девушку, лениво думаю я. Она никогда не поймет, как сильно ей сегодня повезло. Смерть отца сохранили ей честь и самоуважение. И пристойную семейную легенду — папа был органист, его убили в костеле при исполнении служебных обязанностей. И все всегда будут сочувствовать.

В домике открывается окно, и ксендз Вериго окликает Буйницкого. Тот сомнамбулически поднимается и бредет на голос. Сейчас и он начнет утешать племянницу. Думаю, что через месяц-другой ему самому потребуется утешение, и он придет к исповедальне, чтобы услышать от пана Адама слово поддержки. Сакристиан скрывается в домике, а через минуту из него вышла заплаканная Анеля Буйницкая.

Она садится напротив нас, у солнечной стены, ей, как я понимаю, хочется уединения. Она долго глядит себе под ноги, и в траву, затем переводит взгляд к небу, и я тоже интересуюсь, что же там такого замечательного есть на небе. Оно ярко-синее, на нем ни клочка облаков, оно пронизано золотым светом — такое небо рисуют на иконах. На старых иконах такая девственная синева приличествовало изображению святых и прелестных уголков рая. Чистое небо — символ божьей милости к избранным, знак расположения к достойным. Кто же сегодня тут удостоился высшего расположения? Да, похоже на райский пейзаж: сочная зелень кленов, под их сенью белеет костел, лазурь небесной сферы, животворящий солнечный свет, — однако внутри костела на холодном кафельном полу дожидается медицинского заключения тело органиста. Он скажет, что смерть наступила в результате удара тяжелым предметом в заднюю часть черепа, ориентировочное время смерти — между десятью и половиной одиннадцатого. Тяжелый предмет -- тот злополучный подсвечник, на котором эксперты не обнаружат никаких отпечатков, вообще ничего, даже легкого налета пыли.

И посему ничем не помогут нам свидетели, думаю я, не стоит их попусту морить, их показания запротоколирует вечером Саша. Я поднимаюсь и отпускаю с миром Белова и художника. Оба облегченно вздыхают и торопятся покинуть костельную ограду. Художник помчится в пивную, Белов поспешит в свой тихий добропорядочный музей, где нет исповедальни, бархатной шторы и ошеломляющих неожиданностей. Но у калитки я останавливаю их просьбой проводить домой старую пани Ивашкевич, которую дважды на

одной неделе ксендз Вериго досмерти пугал душераздирающим криком.

Единственный человек, с которым хочется мне говорить, это костельная уборщица, пани Анеля. Я знаю, что мне никогда ее не забыть. Она смотрит в небо, солнце ласкает ей лицо. Она заслужила сегодня божье расположение, и мне кажется помолодела на десяток лет. Помолодевшие женщины легко устраняются от лишних забот, и многие мои вопросы пани Анеля просто не расслышит. Но один вопрос я все-таки задам. Он крайне прост: «Кто заходил в костел после того, как пришел Луцевич?» Я тяну с этим вопросом, потому что известен ответ. То есть вопрос обязательно прозвучит, но чуточку позже. Пусть человек порадует своей свободе, услышит счастливый стук сердца. Ведь мгновенная смерть органиста изменяет ее жизнь. Анеля Буйницкая обретает приемную дочь, сироту, о которой будет заботиться до конца своих дней. Или о внучатых племянниках, чей лепет вдохновляет пожилых людей сильнее, чем девичий шепот молодого мужчину. Пани Анеля вновь стала матерью, она будет бабушкой, она постарается оберечь обретенное дитя от новых несчастий. В том числе и от моего любопытства. Баба с пустыми ведрами, черная кошка или поп, перешедшие вам дорогу, милиционер с расспросами — все это давние приметы беды. Не захочет пани Анеля играть с огнем. И потому мне придется написать в рапорте, что проникнуть в тайну трех убийств представляется невозможным, а найти убийцу и поставить его перед судом не удастся никому. Нераскрытое убийство. Ответ Анели Буйницкой, переписанный в рапорт, засвидетельствует истинность такой мысли. Она скажет: «Заходил какой-то в темном костюме и сапогах». Неизвестного с такими яркими приметами будут разыскивать сто лет.

Через минуту — другую придет районная милиция, начнется неизбежная суета, у калитки станет сержант, перед калиткой соберется толпа любопытного, и Буйницкие поведут племянницу домой. Я пересекаю двор и присаживаюсь возле пани Анели. «Не помните ли вы», — говорю я унылым голосом и задаю свой вопрос. Буйницкая внимательно и строго вглядывается в меня, в человека, который от имени государства хочет залезть к ней в душу и отыскать там то сокровенное, что ценится другими чиновниками правосудия. Взгляд ее тверд; я понимаю что уткнулся в стену. Ей не хочется оглядываться назад, и она туманно, равнодушно, коротко сообщает: «Ходил кто-то в сером костюме и сапогах. Только я по воду пошла, не присматривалась». Я молча киваю в знак того, что опровергнуть эти слова мне никогда не удастся. Пани Анеля легче умрет, чем откажется от своей лжи. Она знает, что казнила мужниного брата, человека с черным прошлым, убийцу. Она сделала то, что был должен сделать муж, она взяла на себя мужские обязанности защитника семьи и племянницы. «Тетя Анеля» — вспоминается мне надпись на книге. Тетя понимала, что делает, но свою тайну не откроет никому, даже мужу. Стась Буйницкий тоже услышит о человеке в сером костюме и сапогах. Единственным свидетелем ее решительного поступка был Бог, а он, все

зная, обо всем молчит.

Перед кем ему свидетельствовать? Он сам верховный судья, он судит через совесть. Вина определяется побуждением, во всяком случае, таковы мерки совести, а побуждение пани Анели было святым, она жертвовала безгрешностью, она рисковала собой ради спасения невинной души. И тут всем придется смириться, потому что признания от Анели Буйницкой не последует, раскаяние в святом поступке невозможно. И следствию с его желанием юридической справедливости тоже придется смириться, ибо дух выше буквы.

Смысл следствия — найти виновного и привести его к наказанию. Виновный наказан, я должен быть удовлетворен, а уж то, что судья вынес приговор, не советуясь с народными заседателями, никак не должно меня задевать. Возможно, он посоветовался с той силой, которая выше разума народных заседателей. Пани Анеле не перед кем раскаиваться, никто не сможет ее упрекнуть. Вероятно, только муж ощутит неясное подозрение, но он сам стоит среди спасенных и не посмеет прикасаться к загадке своего счастливого спасения. Ему более других удобно думать, что существует некое третье лицо, совершившее убийство убийцы. Все теперь мне понятно, как слова в букваре, но тоскливо у меня на сердце при мысли, что я искал ответ на земле, а пани Анеля глядела в небо и нашла ответ там. Сам виноват, отведя ей роль жалостливого, но немного статиста. Статистом был ее муж, парализованный сатанинской волей брата. Я ошибся, соизмерив душевную силу пани Анели с ее скромной ролью в костеле. Вот и мне приходится прозревать через ошибку, что каждый человек, действительно, создан по образу божье и может быть полностью независим в своих поступках. От ксендза Вериги, от слабодушного мужа, от страха перед следователем, от расхожего мнения всех бесстрастных. Становится независим, если решает спасти любимого человека. Пани Анеля обогнала меня своим решением, и я обязан это признать. Иначе убийца уже из могилы превратит меня в свое орудие возмездия. Но быть его средством мне не хочется -- добро ненаказуемо...

За воротами скрипят тормоза милицейских машин. Десяток энергичных мужчин во главе с капитаном Максимовым проходят по дорожке в костел. «Ну что?» — бросается ко мне Локтев с наивной надеждой услышать разгадку. «Ничего! — пожимаю я плечами. — Был некто в сером костюме».

Анеля Буйницкая поднимается как бы из желания не мешать нашей служебной беседе и походкой уверенного в себе, свободного человека направляется в пристройку, к мужу, к племяннице, к новой семье и новой жизни. В домике, прилепившемся к ограде, -- два пожилых человека утешают уже свою дочь.

В половине третьего дела наши были улажены, и мы могли бы уехать. Но мне захотелось попрощаться с ксендзом. Пан Вериги меня ждал, о чем свидетельствовал накрытый стол -- настойка в графинчике, закуска, накрытая большой крышкой, две рюмки и кот Серый,

который ждал своего часа, когда крышку уберут с колбасы.

Ксендз произнес почтительную фразу, которая меня смутила:

-- Пан следователь, мне страшно было подумать, что вы не зайдете!

-- Вот, видите, Адам Михайлович, -- обрадованно говорю я, -- вы не ошиблись.

-- Может, выпьем, -- приглашает к столу ксендз. -- Вы с утра на ногах.

-- Вы тоже. За нечаянное доброе знакомство!

Мы усаживаемся за стол, ксендз разливает настойку по рюмкам, мы чокнулись.

-- Наверно, эта история оставит печальный след в вашей душе, -- говорит ксендз Вериге. -- Ведь не нашли человека, который убил органиста?

-- Иногда и нам, следователям, не везет, -- отвечаю я. -- Открыть загадку этих убийств чертовски сложно. Может быть, загадка лежит где-нибудь в бытовых отношениях. Тут как раз вы, пан Вериге, имеете превосходство, по крайней мере, вы знаете органиста лет двадцать...

Тут мой взгляд скользнул на пюпитр, где лежал дневник ксендза, и я увидел там небольшую запись, сделанную сегодня.

-- Можно, ее прочитаете мне?

-- Конечно, -- смущенно говорит ксендз Адам. Ему хочется поделиться своими чувствами.

Он пересел за пюпитр и, надвинув на глаза очки, стал мне переводить с латинского свое видение сегодняшнего происшествия. Оно было небольшим:

«Сегодня я пришел в костел в одиннадцать на следственный эксперимент. У меня возникло чувство, что у следователя не все ладилось, как бы это ему хотелось. Отсутствовал пан органист, и это заставляло его нервничать. Лейтенант Локтев побежал звать в костел Валю Луцевич и пани Ивашкевич: по-моему мнению, успел посмотреть, нет ли органиста в «Привете» и кафе. Валя играла вместо своего отца. Наконец следователь назначил мне принять исповедь от пани Ивашкевич, я поднялся, отрыл штору, и крикнул криком ужаса -- там внутри был неживой пан органист.. Более всего мне было жаль майора Иксанова: он смотрел на мертвого органиста, не понимая ничего. Пани Буйницкая сказала, что видела в костеле незнакомого человека в сапогах. Видимо, он произвел удар в затылок органисту. Неисповедимы пути, какими зреет преступление. В одном я спокоен: никто из костельных ни виноват -- ни органист, ни Белов, ни художник, ни Буйницкий, ни Анеля Буйницкая. Пусть Господь даст, чтобы следствие нашло некоего человека в сапогах».

-- Вы правильно все описали, -- говорю я. -- Следствие, конечно, будет разыскивать человека в сапогах, ваша запись им пригодится.

Простодушный и честный ксендз Вериге, думаю я. Он спокоен, что нет греха на органисте, что безгрешны Буйницкий и Буйницкая. Об этом знает лишь Бог. Мне жаль его

дневниковых записей, они обречены на неизвестность, поскольку никто в этом райцентре не знал, не знает и не будет знать латыни, кроме, возможно, доктора, наученного писать по-латински названия лекарств на рецептурных бланках. Но если бы и знали все латинский язык, не дано им знать того, кто свершил возмездие.

В костельной ограде пусто. Стены его белеют в обрамлении зелени, дремлют на солнце клены, у меня под ногами ползут по своим путям муравьи, вокруг тихо, все умиротворены.. Райский уголок, думаю я, но вот как в этом уголке достается счастье.